

**ЭМИЛЬ  
КОГАН**

# **СОЛЯНОЙ СТОЛП**

**ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ПСИХОЛОГИЯ  
А. СОЛЖЕНИЦЫНА**

**« ПОИСКИ »**

**ЭМИЛЬ КОГАН**

# **СОЛЯНОЙ СТОЛП**

**ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ**

**А. СОЛЖЕНИЦЫНА**

**«ПОИСКИ»  
ПАРИЖ**

**Copyright © 1982 by Emil KOGAN**  
**Editions «Poiski»**  
**2, rue Henri Koch**  
**94000 Créteil, France**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



## 1. СТРАТЕГИЯ НАДЕЖДЫ

В послесловии к «Августу четырнадцатого» — роману, открывающему многосерийную историческую эпопею, Солженицын сообщает, что всегда ее «понимал (...) как главный замысел жизни»<sup>1</sup>. А всю прозу *легального*, да и *нелегального* периодов, то есть от «Ивана Денисовича» до «Архипелага», — как своего рода крюк, вынужденное отклонение от основного предмета, осознанного таковым уже в 1936 году, когда ему исполнилось 18 лет. Поистине —

*Вся жизнь моя была залогом  
Свиданья верного с тобой.*

Слава и почитание застали Солженицына в расцвете творческих сил, когда свидание это уже больше нельзя было откладывать: сейчас или никогда. Солженицына ожидало грандиозное историческое полотно, нечто вроде «Войны и мира» двадцатого столетия, перед которым все предыдущее меркло и выглядело этюдным наброском, «кружным путем»<sup>2</sup>.

И все же ситуация курьезная, если учесть, что «отвлекаясь на другие книги»<sup>3</sup>, писатель обрел редкостный материал, мудрость и несгибаемость эка, нобелевское имя, попал в первый десяток наиболее авторитетных людей планеты и открыл на ней новый «архипелаг», между тем как главное произведение не снискало столь же единодушного признания.

Впрочем, читательский и писательский суд часто не совпадают, и время, единственный непогрешимый арбитр, не обязательно решает в пользу читателя-современника.

Наконец, из обещанного множества томов в целом и законченном виде появился всего один, и тот, не успев покрасоваться на международных книжных прилавках, снова оделся в леса, ушел в доработку и переделку. Так что не будем спешить с оценками. Запасемся дыханием, нам предстоит еще длинный совместный

1,2,3. Из послесловия к первому русскому изданию «Августа четырнадцатого», ИМКА-пресс, Париж, 1971, стр. 572.

путь. «Двадцатилетняя работа»<sup>4</sup> Солженицына дала лишь первые плоды. Молодой читатель придет к финалу эпопеи уже не мальчиком, а мужем, муж — стариком. И ранние тома успеют стать дважды историческими.

Завершив «Архипелаг», Солженицын разделался с неотложными долгами, и теперь его ничто уже не «отвлекает» от основного назначения. Будущее уводит его в прошлое, из прошлого он слышит будущего зов, оставаясь при этом у времени в плену, не переставая быть самым актуальным и острым писателем отечественной современности.

До «Августа» художественное и публицистическое у него выражалось порознь. Мы знаем Солженицына-художника, создавшего панорамное изображение, энциклопедию сталинской послевоенной действительности. И Солженицына-трибуна, возмутителя мирового спокойствия, шокирующего своими выступлениями даже умеренно-прогрессивное западное целомудрие.

Этот второй Солженицын обнаружился сравнительно недавно, когда мировой читатель уже привязался и проникся любовью к первому. В чувствах массового читателя произошла некоторая заминка. И кое-кто на Западе даже захлопнул в праведном гневе его книги. Неистовый политический Солженицын, можно сказать, успокоил их больную совесть, зудящим воплощением которой был литературный Александр Исаевич.

Других же, и таких, слава Богу, большинство, ничто уже не могло отвратить от «Архипелага ГУЛага». Тем более, что левая и объективная критика помогла им сориентироваться в новой обстановке. Читателю было предложено отличать Солженицына безусловного, воскресившего из небытия миллионы загубленных, певца лагерных и народных восстаний и, стало быть, писателя революционного, от пророка контрреволюции и реакционной Кассандры.

Мне, русскому зрителю, такое благонамеренное раздвоение писательской личности сразу напомнило нашу революционно-народническую, а затем и советскую привычку противопоставлять достоверность Гоголя, Тургенева, Достоевского, Бальзака их «консервативным», «правым» взглядам. Правдивые картины жизни выходили из-под их пера всегда «вопреки» и «несмотря», а взгля-

4. Там же, стр. 572.

ды просто отметались с порога как наивные, безответственные, опровергаемые самим же их творчеством. С писателем обращались, как с талантливым, но капризным и дурно воспитанным ребенком, правильно понять которого нечего было и пытаться без консилиума передовых профессоров и критиков.

Пример Достоевского поучителен в этом отношении. Не прошло и полувека, как «реакционные», «апокалиптические» предвиденья обернулись жесточайшей исторической реализацией, а критика его гонителей и толкователей — выражением косной и агрессивной общественной морали, неспособностью вырваться на волю за красные флажки идеологических стереотипов.

Предложение вынести за скобки солженицынского деяния все, что мешает и раздражает, и закрыть на это глаза — не рискует ли через какой-то исторический срок оказаться тем же поспешным диагнозом? А то, что воспринимается сегодня «фальшивыми лозунгами» и «ложными истинами» и что должно «со временем развеяться как дым»<sup>5</sup>, не выйдет ли на поверку глубокими и неискоренимыми убеждениями романиста?

Вышедший в 71 году «Август четырнадцатого» со всей прямоот отвечает на последний вопрос. В романе сливаются в нерасторжимое целое художественный и публицистический потоки солженицынского сознания, и в этом смысле эпопея открывает принципиально новую страницу в творчестве писателя. Его идеи и пророчества превращаются в живую плоть образов, судеб и ситуаций и смеются над алхимией расщепления и куцыми прогнозами доброхотов.

В художественной лаборатории эпопеи подвергаются испытанию на прочность и жизнестойкость основные солженицынские мысли. И результаты этой работы восстанавливают расколотое в нашем представлении единство «Матрениного двора», «Архипелага ГУЛага» и философско-политических статей писателя.

Но возникает другой вопрос. Как могло случиться, что проза 60-ых годов не подготовила читателя к вытекающему из нее позднему Солженицыну? Не причиной ли тому идейная эволюция или даже крен в его мировоззрении? Сам Солженицын уверяет в автобиографических очерках «Бодался теленок с дубом», что до поры

5. Цитирую «Монд» от 10 марта 1976 г., статью Ефима Эткинда «Солженицын и Апокалипсис».



до времени скрывал истинные взгляды, чтобы не выдать себя с головой, чтобы выиграть время для сбора материалов к «Архипелагу» и «Ленину в Цюрихе» у себя на родине.

Поэма «Прусские ночи», где советская армия ведет себя в захваченной Пруссии ничуть не лучше немецкой в оккупированной России, и комедия «Пир победителей», отпечатанная служебным тиражом для партийной и писательской верхушки<sup>6</sup>, чтобы скомпрометировать автора всеми признанного «Ивана Денисовича», подтверждают его объяснения.

И однако же читатель не верит, что его водили за нос, что автор ловко припрятывал от него нечто главное. Искусство не позволяет художнику оставлять что-либо про запас, маскировать второе дно. Солженицын, думается, всегда был самим собой и всегда выкладывал себя полностью, всякий раз ставя планку на максимальную высоту своих и общественных возможностей.

Суть солженицынского «превращения» в ином. И путь писателя не отмечен ни креном, ни лукавством, хотя он сейчас и не прочь толковать свой прошлый труд как педагогическую прогрессию.

В «Иване Денисовиче», рассказах и первых двух романах кредо писателя уместается в двух словах: гуманизм и антисталинизм. Такой Солженицын устраивал всех. И папу римского Павла VI, зачитывавшегося «Раковым корпусом», и еврокоммунистов, черпавших в творчестве писателя доказательство десталинизации России.

Солженицына нельзя было даже отнести к врагам социализма. Под «нравственным социализмом» Шулибина мог бы подписаться и Вилли Брандт, и тот же итальянский коммунист.

Конечно, критика писателя была не просто критикой действительности в духе XIX века, но критикой действительности, *побившей все рекорды бесчеловечности*. Тем не менее, поскольку действие почти всех его произведений обрывалось перед XX съездом, композиционно создавалось ощущение надежды, не отвергался свет в конце туннеля.

Это обеспечивало Солженицыну впечатление умеренности за рубежом и легальность на родине. И власти, даже отказавшись издавать писателя, все же ограждали его от чрезмерных нападков цепной прессы, как бы сохраняя в резерве предполагаемой либерали-

6. А теперь и доступная простым смертным. В сб. «Пьесы и киносценарии», ИМКА-пресс, Вермонт-Париж, 1981.

зации, от которой после XX и XXII «антисталинских» съездов не решались сразу и демонстративно отмежеваться.

Композиционный ход Солженицына, общий, между прочим, для всей либеральной советской литературы, был не тактической уловкой, но стратегией надежды.

В начале шестидесятых годов Россия стояла на перепутье. Демократические посулы Хрущева чередовались со ждановскими угрозами и порождали смятение и недовольство. Одни опасались утратить контроль над ситуацией. Другие горели нетерпением и осознали, что бушевание в стране антисталинского лексикона не поколебало основ сталинского бытия, что Сталина предадут анафеме те, кто вчера воскуривал ему фимиам.

Положение в первую годовщину падения Хрущева напоминало постфранкизм. Ждали, кто возьмет верх, «бункер» или «ленинская демократизация». Если бы победителем вышел социализм с человеческим лицом, то излюбленный аргумент Леонида Плюща и многих других, что Христос, дескать, не отвечает за инквизицию, имел бы больше шансов на успех...

Но победителем вышел аппарат. Последний всплеск искренней веры: «Ленин, проснись! Они сошли с ума!» – утонул в грохоте советских танков на пражской мостовой. Восточная Европа второй раз похоронила Ленина, и на этот раз – навсегда.

Не поспешили ли с похоронами и не было ли это погребением заживо, – судить не берусь. Я просто констатирую, что похороны состоялись, на правах вернувшегося с них (до 68 года я жил в Москве и работал в газете).

Ленин – друг, товарищ и великий гуманист, ставящий на творческую энергию масс; Ленин – демократ, прибегавший к террору как к крайней необходимости, а не как к постоянному допингу; Ленин – сама противоположность Сталину; подчищенный и прилизанный Ленин из «Синей тетради» Э. Казакевича (1960 г.) – этот Ленин словно по мановению руки исчез со страниц советской литературы. Опустел его мавзолей. Публика повалила в Храм. Там ее ждал Солженицын. Трезвый и саркастичный, расставшийся с последними иллюзиями, избавленный от хитроумных правил подцензурной игры, эвфемизмов и недоговоренности. Ждал со своей версией Антихриста, Искусителя.

В условиях идеологического оледенения, последовавшего за пражской весной, ему уже было нечего терять и невозможно молчать. Неисправимость режима стала слишком явной очевидностью.

И хотя Солженицын заговорил позже других, его голос оказался громче и доходчивее всех прозвучавших до него голосов.

Крепчала травля, возрастал от заявления к заявлению радикализм Солженицына, пока не достиг святотатственной мощи «Архипелага». Солженицына «спровоцировали», и случай его типичен. Надежда Мандельштам признается в воспоминаниях, что стихи мужа были отправлены к иностранному издателю, когда угасла всякая вероятность их советской публикации.

Как видно, не с легким сердцем идут писатели на разрыв с посылкой родиной. Горек хлеб пророка в чужом отечестве. Их больше устроил бы иной исход для себя и страны.

И если бы за этот иной исход пришлось бы платить известной сдержанностью, необходимостью считаться с рядом табу, избегать публичного поношения государственных кумиров и священных догм, не думаю, что в связи с этим обнаружили бы непреодолимые проблемы.

В 63 году, когда все были либералами, в «Новом мире» появился рассказ Солженицына «Для пользы дела», вершина советской либеральной прозы. В нем автор осудил беззастенчивую эксплуатацию бюрократами молодежного энтузиазма, утверждал идею (свежо предание, а верится с трудом!) творческого демократического социализма, дух которого не выветрился и в последнем, предназначенном для легальной печати произведении («Раковый корпус»).

В «Теленке» и в «Архипелаге» Солженицын с иронией отзывается о своих попытках ассимиляции. И тем не менее они, как говорится, имели место и были искренними и убедительными.

Солженицын — великий реалист. И он выражает наиболее приемлемый и осуществимый вариант миропорядка, к которому в настоящий момент склоняется его немое отечество.

Либеральные проекты, мечты о возвращении к революционным источникам хрустнули в клещах «нормализации» — Солженицын ищет спасения в христианской государственности, основанной на самодисциплине, раскаянии и справедливости, в ней видит самую надежную и верную дорогу в лучшее будущее. И его не останавливает, что проект этот выглядит за рубежом «средневековой славянской утопией»<sup>7</sup>. В России «Письмо вождям Советского

7. Статья редактора «Нувель Обсерватер» Жана Даниеля. № 592, 15 марта 1976 г.

Союза» (1973 г.) было воспринято многими как самый реалистический и прагматический документ советской истории.

Сравнивая статьи Солженицына со статьями его единомышленников по сборнику «Из-под глыб» (1974 г.), мы находим их наиболее умеренными и ответственными.

Представлять его Геростратом, сжигающим старые мосты и бешено возводящим химерические новые, — несправедливо и ошибочно.

Вспомним, сколько переполоху наделала в западном прогрессистском курятнике серия интервью писателя, прокатившаяся в 76 году по американскому и европейскому телевидению!

Возмущению не было конца. Даже правые перепугались его медвежьего натиска. Даже газета «Монд», незадолго до того крупно повздорившая с Солженицыным, решила выступить в его защиту, отстаивая истинного Солженицына от Солженицына сенсационного, разменивающего свое высокое назначение на непродуманные, театральные выходы<sup>8</sup>.

Но вот наступил во Франции (где я теперь проживаю, а потому и пишу о ней) 77 год, год *новых философов*. И что же? После них речи Солженицына стали звучать едва ли не общим местом. Критик из «Нувель Обсерватер», еще вчера усматривавший в «Ленине в Цюрихе» недопустимое покушение на всю и всяческую революцию<sup>9</sup>, уже участливо комментирует книгу *нового философа* Б.-А. Леви, считающего себя последователем Солженицына. Оказывается, не стоит «издавать победные крики каждый раз, когда где-либо в мире трясется земля»<sup>10</sup>.

С идеями Солженицына случилось то же самое, что и с мини-юбками. Они производили скандал в первый сезон, а в следующем в них щеголял весь Латинский Квартал, не боясь обнажить костлявые маоистские коленки.

Солженицын не зачинатель моды. Он явление слишком серьезное и независимое, чтобы вписываться в какое-либо поветрие. Но его выступления нередко раздаются накануне важного сдвига в общественном сознании на Западе и в России. Это стоит ему лож-

8. Уже цитированная статья из «Монда» от 10 марта 1976 г.

9. Рецензия Ж.-П. Енговена «Ленин в чистилище». «Нувель Обсерватер», № 583, 12 января 1976 г.

10. Рецензия Ж.-П. Енговена. «Нувель Обсерватер», № 653, 16 мая 1977 г.

ных обвинений и ложной защиты. Писатель первым принимает на себя удары нашей косности и прогрессивного консерватизма.

И пускай немалое в речах Солженицына удручает несправедливостью и пристрастием, сбрасывать их со счетов — неразумно и нерентабельно. Даже самые опрометчивые его суждения содержат могучую долю правды. Мысль Солженицына, как и всякого незаурядного писателя, следует брать во всей ее полноте, искать и находить противоречия, соглашаться или не соглашаться, но относиться к ней вдумчиво, спокойно и с уважением. Нам это нужно еще больше, чем ему.

Впрочем, эпопея, где слиты воедино художник и публицист, не дает нам возможности поступать иначе. Мир его образов, удачных и менее удачных, неотделим от мира его идей, спорных и бесспорных. Узлы эпопеи спутаны с основными узлами его жизни, которых мы коснулись в этой вступительной главе, и с основными узлами его политической психологии, которые будут затронуты в этой книге.

Новый труд стал для Солженицына началом всех начал, ибо он позволяет проследить и выявить, откуда есть пошла земля советская. Как возник и укоренился в стране тот образ жизни, который он сперва описал при круговом сочувствии мирового читателя. Как зародился он в недрах прежнего общества и как произошло извержение революционной лавы из тела России, изможденной военными неудачами.

Идеи Солженицына так близко подходят к эпической поверхности, что добывать их можно открытым способом. Они лежат перед нами, главные темы солженицынского сознания: ленинизм, революция, ее победа и поражение.

## 2. ШТУРВАЛ ИСТОРИИ

«Ленин в Цюрихе» — это книга, в которой под одной обложкой собраны разрозненные главы из трех начальных томов эпопей.

С точки зрения литературно-издательского дела, перед нами беспрецедентно смелая операция. Можно ли представить себе, скажем, Наполеона из «Войны и мира» отдельной книгой? Автор, казалось бы, первым должен был бы воспротивиться такой вивисекции. Помилуйте, резать по живому, по кровеносным сосудам единого замысла! Хорош аргумент для тех, кто не устает твердить о смерти романа как жанра.

Что же придало решимости Солженищину? Боязнь застрять на долгие годы в объемных и на совесть завязанных узлах эпопей? Оставить общественное мнение больше, чем следует, без очередной порции взрывчатого материала? Желание убедить скорее читателя «Архипелага», не успевшего оправиться от поразительной соотнесенности лагерных «островов» с ленинским революционно-государственным континентом, что «после Ленина» значит «из-за него»?

Не будем пренебрегать ни одним из этих объяснений. Но можно быть совершенно уверенным, что если Солженищин-писатель позволил уговорить себя Солженищину-издателю, то лишь потому, что, взвесив все, пришел к выводу, что художественные убытки будут или незначительными или же их не будет вовсе.

Выделить отдельной книгой толстовского князя Андрея или Рубина из романа «В круге первом» было бы действительно резать по живому. Зато Наполеон и Сталин занимают особое положение в соответствующих романах, сопоставимое с ленинским. Они стоят особняком, не смешиваясь с общим потоком повествования. Встречи с ним — недолгие и символические. Наполеон видит князя Андрея, лежащим подле знамени на остывшем поле сражения. Сталин во время одной из аудиенций приказывает министру Абакумову изобрести телефонный аппарат, делающий человеческую речь неразборчивой для шпионского уха.

Тонкой сюжетной связкой соединен каждый случай с материн-

ским телом романа, и по мере того, как он разбухает и обретает самостоятельные очертания, растет искушение оборвать условную пуповину и пустить независимой книгой, как «Ленина в Цюрихе».

Но вот что странно. Извлеченные таким образом главы поражают своей непомерной амбицией. Они как будто считают себя равными по диалектическому весу всему остальному роману, девяти десятым оставшегося текста. Принимают себя за его мозговое устройство, за программирующую систему.

Ведь это по взмаху наполеоновской перчатки сдвинулось с места полпланеты и с нею князь Андрей. Ведь это Сталин своей шпиономанией заварил кашу романа...

Однако стоит поставить на место выпавшие из романического puzzl'a главы, как все возвращается в свои подлинные размеры. Нырять в события и пытаться увлечь их за собой, император становится щепкой в их водовороте. Перед лавиной человеческих масс и судеб Наполеон с вытянутой рукой выглядит игрушечным капралом из папье-маше.

И рядом с миллионами объятых страхом людей Сталин, видящий себя в мечтах пролетарским императором, оказывается тем, кто он и есть на самом деле: маразмизирующим старцем, которого животный страх загнал в самую высокую камеру созданной им тюремной цивилизации.

Ну, а Ленин, велик ли КПД его влияния на события «Августа четырнадцатого», «Октября шестнадцатого», «Марта семнадцатого»? Не грозит ли экстраполированный Ленин, метящий уже в Цюрихе в вожди мирового пролетариата, нарушить пропорции эпопеи и исказить замысел?

То-то и оно, что нет. Ленин совершенно оторван от общих событий и не имеет над ними никакой власти. Связь Ленина с Россией осуществляется посредством редких и нерегулярных наездов за границу руководителя «внутреннего бюро» Шляпникова. Личности строптивой и не особенно считающейся с главой зарубежного центра<sup>1</sup>.

Ленин и не знает толком, что происходит в России. Прессе военного времени, ослепленной патриотизмом и оскопленной цензу-

1. Это тот самый А. Шляпников, что вместе с А. Коллонтай, теоретиком «свободной любви», возглавит так называемую «рабочую оппозицию», требующую независимости профсоюзов от партии и государства. Шляпников был одним из немногих, кто не признавал деспотизма ленинских суждений, а Ленин — ни «свободной любви», ни свободных профсоюзов.

рой, доверять не приходится. Одно время ему кое-что сообщала сестра, заполняя симпатическими чернилами пространство между строками обычных писем, но они перестали приходить. Солженицын всячески подчеркивает эфемерность ленинского руководства и ленинской партии накануне революции.

Когда немецкий социал-демократ и банкир Парвус предлагает Ленину от имени немецкого Генштаба финансировать революционное движение, тот не знает, что и ответить. Ленин – генерал без войск. Под его началом нет никакой организации. Главная его забота – не выдать Парвусу своей «военной тайны», не оттолкнуть и не разочаровать могучего союзника.

Февральская революция явилась для Ленина громом с ясного неба. Он ожидал восстания в Швейцарии, в Швеции, а вернее сказать, ничего уж и не ждал от истории и собирался плюнуть на все и укатить, как Троцкий, в Америку. Русский гороскоп виделся ему совершенно безнадежным: «Царь с кадетами сговорится. И будет пошное, нудное буржуазное развитие на двадцать-тридцать лет»<sup>2</sup>. Весть о русской революции Ленин принял за очередную газетную утку: «Чушь какая (...) Такое ляпнут»<sup>3</sup>.

Вероятно, нет нужды «вкладывать» Ленина обратно в основной текст, чтобы найти КПД его влияния на судьбы мира в данный момент. Стрелка едва дрожит у нуля. Россия сама по себе корчится в конвульсиях войны и революции. Ленин сам по себе вертится в партийном колесе конференций, докладов, прений, глухой фракционной грызни.

Такое положение вещей обеспечивает ленинским главам полную автономию, и оно будет сохраняться до тех пор, пока герой не вернется на родину в IV томе. Поэтому самостоятельное издание «Ленина в Цюрихе» ни в чем не искажает перспективы и не вредит в архитектурном отношении ни первым трем, ни последующим узлам.

То, что не получилось бы ни с Наполеоном у Толстого, ни со Сталиным у самого Солженицына, безболезненно удаётся с Лениным.

Композиционная раскладка Толстого, когда выдающаяся личность управляет событиями и битвами с высоты наблюдательного пункта, – такая раскладка способствует столкновению верховной

2. Ленин в Цюрихе, ИМКА-пресс, Париж, 1975, стр. 95.

3. Там же, стр. 170.



личности с реальной действительностью в том смысле, что выявляет тщетность ее потуг и притязаний на мировое господство.

Ленинскому образу на подступах к революции не нужен этот композиционный рычаг. Его создатель не верит в автоматические, не неподвластные разуму регуляторы исторического процесса, в произвол высших сил. Он верует в примат человеческой личности над историческими условиями, средой и засасывающим болотом материалистического и идеалистического детерминизма.

История для него никогда не предрешена. Она итог взаимодействия отдельных волей и безволия, смелости и трусости, компетентных и слепо суетящихся военных. Итог, от которого зависит, быть или не быть России. Солженицын не хочет «утешиться толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями — (...) слишком много раз показал нам XX век, что именно они»<sup>4</sup>.

В историю, по его разумению, позволительно врываться незванным гостем на любом ее этапе, где бы ни застала нас судьба. Не поздно оказалось и весной семнадцатого, когда уже были распределены роли и большевики выбрали *критическую поддержку* Временному правительству, оглушить с броневика революционными «Апрельскими тезисами» толпу, залившую площадь Финляндского вокзала.

Не поздно было и в сороковые, роковые (обдумывает Солженицын в «Архипелаге»), отпрянуть от своего конвоира, не идти за ним послушной овечкой по беззаботным московским улицам от вокзала к Лубянке, а кричать, кричать, собирая вокруг толпу. Если бы каждый арест становился такой песчинкой, стопорящей налаженную и смазанную машину массовых арестов, меньше было бы в конечном счете тюрем и лагерей.

Не поздно и сейчас открыто и во всеуслышанье отказаться от злокачественной идеологии, убеждает Солженицын *вождей* страны, а жителей ее: «Жить не по лжи!». Ведь вся эта детерминированная полувековым гнетом общественная масса, весь этот спрессованный им конгломерат жертв, равнодушных, палачей и пособников распадется, когда составляющие его элементарные частицы осознают, что «каждая из них — человек, и несет в себе Божий

4. Август четырнадцатого, ИМКА-пресс, Париж, 1971, стр. 350.

огонь»<sup>5</sup>, и перестанут своей пассивностью и инерцией вырабатывать токи сцепления.

«Идеи правят миром» — эта много раз опровергнутая и высмеянная *филистерская* формула прошлого века восторжествовала на глазах Солженицына в нынешнем столетии. Отвергнув контакт с реальной действительностью, враждебная живым и многообразным устремлениям человека, она, достигнув власти, первым же делом раздавила «базис» и «социально-производительные отношения», которые на ее же языке и должны править миром. Она создала собственный базис — вариант *ассиро-вавилонской государственности* (определение Н. Мандельштам) и на нем уже воздвигла материальную надстройку: сталинские пирамиды, епифанские шлюзы, военно-индустриальные комплексы, поставляющие оружие для экспорта революции и для внутреннего подавления ее. Советская власть учредила абсолютное торжество над экономикой, над материально-производственной сферой, торжество извращенного духа над сломленной и поруганной материей.

Ее богоборческий, шарлатанский эксперимент не мог породить у соотечественников писателя раболепия перед историей, культа целесообразности, научно-либерального оптимизма, полагающего, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, если не ставить палки в колеса и не подкладывать под них динамит.

На роль личности в советском обществе сложилось два основных взгляда. Один сводится к мрачной уверенности, что *против рожна не попрешь*, со всеми вытекающими отсюда правилами социального поведения: цинизмом, приспособленчеством, погружением в бытовую семейную раковину, развитием административно-садистских наклонностей.

Другой и есть исторический активизм самого Солженицына, из всех законов общества признающий и подчиняющийся лишь одному нравственному закону: «ВОЛКОДАВ ПРАВ, А ЛЮДОЕД — НЕТ»<sup>6</sup>.

Им Солженицын принуждает читателя определить свое место в сражении века. Писатель мешает жертве почивать в сладостно-мазохистском ощущении своей невинности и своего бессилия.

Западная критика, сытая по горло индустриальными политическими истинами, психоанализированной моралью, этическими

5. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, ИМКА-пресс, Париж, 1975, стр. 75.

6. В круге первом, ИМКА-пресс, Париж, 1969, стр. 466.

экспериментами, доказывающими взаимозаменяемость жертвы и палача, набросилась на формулу «Волкодав прав, а людоед – нет», как на свежий и натуральный крестьянский продукт, доставленный в город прямо с фермы. Но у Солженицына «критерий Спиридона»<sup>7</sup> был не реакцией на этическую содомию кинематографа, неведомую в пуританской стране, но ответом на жизненную практику, на конкретные и настойчивые предложения властей, адресованные демократическим мученикам и либеральным жертвам, активно сотрудничать со своим палачом. Закон Солженицына обретал высший и реальный смысл, когда академиков заставляли подписываться под статьями против Сахарова, писателей – принимать участие в травле Солженицына, Плисецкую и других «полезных евреев» – в антиссионистских митингах.

Власть толкала жертву переступить тот «предел, где человек переступает в людоеда»<sup>8</sup>, – Солженицын мешал ему бросить в святой простоте полене в костер инквизиции. И недаром его гневная статья «Образованщина», осуждающая советского интеллигента, затравленного и неизменного коллаборанта режима, породила столько споров и обид.

Моральный императив Солженицына, прозвучавший в призывах к массовому подвижничеству, к практике первых христиан, оформился в эпопее в простую и прозрачную историческую концепцию. «Август четырнадцатого» полон деклараций о праве и долге личности повлиять на ход событий, взять в свои руки штурвал истории.

Нравственный максимализм писателя приводит в романе к резкому разграничению зон добра и зла. Солженицын избегает постепенных переходов от света к тени, психологической зыбкости и оправдательных полутонов. Принадлежность героев к племени «волкодавов» и «людоедов» задана с самого начала и отвечает специфике художественно-публицистического жанра. Эта идейная оголенность образов, их независимость от вяжущего психологизма обеспечивает им в принципе высокий уровень свободы действия и обостряет чувство ответственности перед историей.

В «Августе» нам выпало знакомство с несколькими масштаб-

7. Дворник Спиридон – герой романа «В круге первом»; ему и принадлежит эта ставшая крылатой фраза. Стр. 461.

8. Открытое письмо от 15 июня 1970 г. Опубликовано в приложении к книге «Бодался теленок с дубом», ИМКА-пресс, Париж, 1975, стр. 543.

ными и целостными героями из племени «волкодавов» и с главным из них, полковником Воротынцевым.

«Ленин в Цюрихе» — встреча с представителем совсем иной породы. Ленин в Цюрихе позволяет угадать Ленина в Октябре, сумевшего поднять Россию на дыбы.

И этот Ленин нисколько не похож на того избранника судьбы, в которого гегелеанско-марксистская мистика инвестирует весь свой энергетический капитал, кому сейсмическим слухом удается уловить рокот отдаленного события, облегчить ему выход на поверхность и стать его живым лицом.

Ленин не предвидел Февральской революции, не расписал заблаговременно партитуры Октябрьской. А он пришел, увидел, победил.

Опрокидывая миф о революции, которую якобы Ленин выси-дел, как наседка, Солженицын выходит на позиции, откуда ему удобно оспаривать историческую закономерность и объективно-прогрессивный характер Октября. Он сбивает венчающий эту революцию нимб неизбежности и законности. Нимб, на долгие годы парализовавший волю к сопротивлению как в самой стране, так и за ее рубежами.

### 3. БЫЛА ЛИ "НУЖНА" РЕВОЛЮЦИЯ?

В отличие от вулканов и землетрясений события социальные принадлежат к рукотворным явлениям, и к ним активная историография Солженицына вправе применить критерий целесообразности. Итак, была ли царская Россия страной экономического застоя, разительных контрастов между нищетой и роскошью, клубком противоречий, который невозможно распутать, а остается только разрубить?

Автор открывает Россию глазами Сани Лаженицына. Московский студент приезжает к себе домой, в Ростовский край, проститься с ближними перед отправкой на фронт. Фамилия юноши созвучна авторской, и Ростовский край – родина Солженицына. Как не заподозрить в молодом герое отца самого автора?

Отцовское зрение, усиленное оптическим прицелом сыновьего знания, позволяет увидеть Россию в новом, необычном для русской литературы свете. Прекрасно обработанные поля, ухоженные стада, высокопродуктивные фермерские хозяйства. В Ростове мы получаем возможность поглазеть на витрины магазинов, не уступающих московским, на архитектуру в стиле «модерн», посетить дома ростовчан. Потом мы попадаем в Москву, проходим по ее оживленным улицам, изучаем меню недорогого трактира.

И всюду, где бы мы ни побывали, нас встречает изобилие, дешевизна, разнообразие и удобство налаженной жизни.

Писатель вводит нас в круг инженеров и заводчиков. Охваченная индустриальной лихорадкой, деловая Россия обсуждает разработку энергетических ресурсов, американизацию Сибири, закладку столичного метрополитена, строительство тепловых мельниц на хлебном юге... Бесчисленные проекты, прерванные войной!

Прежняя Россия Солженицына – прямая противоположность той голой, запущенной, безнадежно отсталой России из советской легенды, которая на протяжении всей жизни писателя служила и служит оправданием кровопролитной гражданской войны и египетского труда народных масс на сталинских пятилетках.

Россия, открытая в «Августе четырнадцатого», пересекла порог индустриальной эры. Русская тройка была уже промышленным локомотивом, и он мчался безостановочно по рельсам прогресса. Историки не дадут соврать романисту, приведя в подтверждение его радужной картины самые высокие в Европе темпы русского экономического прироста.

Перекрывший их советский бум для автора никакой не аргумент в пользу революции. Для него сталинская экономика – извращение самой идеи индустриализации. Промышленность должна кормить и одевать население, производить в изобилии материальные блага, а не ракеты, танки, автоматы, продукты имперской гордости и мощи.

Несколько глав в романе почти целиком посвящены неспешному, доскональному описанию предметов быта, утвари, хозяйственных забот, домашних занятий и обедов. Через этнографическое описание едва прослеживается пульс фабулы. Для советского читателя это не просто этнография, восстановление по литературным и газетным черепкам исчезнувшей полвека назад цивилизации, а опись разоренного, уплывшего из рук наследства. В извержении вещей, предметов, платья, еды как будто прорвалась хроническая тоска советского человека по утерянному навсегда материальному достатку.

Подробен каталог обстановки и семейного распорядка в доме сельского промышленника Томчака:

«Столовая была расписана под орех, и ореховый же буфет огромный, а кожа мебели – лягушино-замшелого цвета» (стр. 29);

«Шел Успенский пост, на столе не было ни мясного, ни молочного, и кофе без сливок подавала буфетная девка, сам лакей к этому завтраку не выходил» (стр. 30);

«Ирина (...) пошла золотистым ковром-паласом, не снимаемым на лето, мимо выставки хрусталя» (стр. 32)<sup>1</sup>.

Обитатели дома смакуют изысканный комфорт. Они недавно обрели богатство и еще не утратили вкуса к нему. Романист выставляет их быт напоказ отнюдь не с разоблачительной целью, не для того, чтобы заклеить пустопорожнее существование, бешенство с жиру, как это часто было принято в русской литерату-

1. Цитируя из «Августа четырнадцатого», я буду ограничиваться впредь указанием страниц.

ре, изнуренной вековой виной перед народом. Отношение к Томчакам теплое, любовное, может быть, слегка ироническое, что у Солженицына — знак высшей расположенности. Такая ласково-ироническая интонация сопровождала, помнится, бородача-германиста Рубина («В круге первом»)...

Как же объяснить реабилитацию богатства у самого аскетического из современных русских писателей? Ведь еще совсем недавно он проповедовал в «Раковом корпусе» свободу человека от вещей и предметов. Реакцией на них автора была реакция Олега Костоглотова, попавшего из ссыльной глуши в универмаг большого города и поразившегося обилию ненужных и даже неизвестных по назначению ему, лагернику, вещей. А идеалом — едва ли не жизнь в землянке двух счастливых любовью друг к другу и к людям стариков. Порок у Солженицына неизменно соединялся с материальным избытком, а избыток — с духовным вакуумом. Квартира генерала от прокуратуры Макарыгина, загроможденная мебелью, хрусталем и дурацкими коллекциями, — один из многих тому примеров («В круге первом»).

Переоценка ценностей и отношения к богатству в «Августе» связаны с изменением социальной роли его обладателей. В прежних произведениях богатство принадлежало социальным паразитам, то есть сталинским аппаратчикам и опричникам. В романе оно добыто трудами рачительных хозяев, талантливыми инженерами — теми, кто умножает общественное достояние, кто, по гордому заявлению Томчака, «Россию кормит» (стр. 68), чье богатство — необходимое условие безбедного существования всех остальных.

Рефлекс Костоглотова, однако, не исчез в эпопее. Он лишь сменил нравственный полюс и перешел ... к Ленину. С ненавистью и отвращением взирает Ленин на витрины цюрихских магазинов, на груды всевозможных колбас и сыров, на витрины, не знающие, чем бы еще удивить пресыщенного цюрихского обывателя. Ленин «ненавидел и вещи эти, но еще больше — людей, кто эти вещи любит»<sup>2</sup>. Испепеляющий взгляд Ленина и сожжет, как огнеметной струей, материальный покров России.

Сам же Солженицын, избавленный от аскетической ярости, ласкает взором и «вещи эти», и людей, что честно их заработали.

«Политэкономия» писателя исключает понятие эксплуатации в

2. Ленин в Цюрихе, стр. 60.

либеральном обществе. Проиллюстрируем эту мысль диалогом между инженером Ободовским и «революционной молодежью» из «Августа»:

« – Вот сегодня смотрели мы элеватор, где недавно рос один бурьян, и современную мельницу. Мне не передать вам, какие там вложены ум, образование, предусмотрительность, опыт, организация. Это все вместе, знаете, почему стоит? – ДЕВЯНОСТО ПРОЦЕНТОВ будущей прибыли! А труд рабочих, которые камни клали и станки подтаскивали – десять процентов, и то можно бы кранами заменить. Они свои десять и получили. Но ходят молодые люди, гуманитаристы... вы ведь гуманитарист?»

– Какое имеет значение? Вообще – да.

– Ходят гуманитаристы и разъясняют рабочим, что они получили мало, а вот инженеришка там в очках ни одной железки сам не передвинул, за что ему платят, ПОДКУП! А умы и натуры неразвитые легко верят, возбуждаются: свой труд они ценят, а чужой им понять недоступно.

– А – Парамонову за что прибыли? – крикнула Соня.

– Не вся и зря, поверьте, я сказал: организация. Не вся и зря. А ту, что зря, – ту надо разумными общественными мерами постепенно переключать на другие каналы. А не бомбами отнимать, как мы делали» (532-533).

Так рассуждает образумившийся, бывший революционер-анархист Ободовский. «Когда много создано, то даже при ошибках распределения никто без куска не останется» (533), – уверяет он, – чувствуя за спиной поддержку автора, – своих возмущенных собеседников. А чтобы создавать, нужна хватка, инициатива, инженерный зуд, или, короче говоря, свобода предпринимательства. «Только те дела и надежны, где сам хозяин во главе, а где казна да казенные служащие – там добра не жди никола» (45), – вторит ему Томчак.

В «Августе» тщетно искать тех классовых антагонизмов, той ненависти к угнетателям, которые знаменуют канун любой революции. Отношения между Томчаком и наемными рабочими скорее патриархально-родственные. Он привык «щедро платить за всякое дело» (49) и «кормить их мясом четырежды в день» (31) во время летних работ. Работники, язык не повернется назвать их «батраками», уважают его, как отца родного, и он, «обязанный им не меньше, чем они ему» (65), освобождает их, благодаря своим связям и взяткам, от мобилизации.

Ясно, что такой чистосердечный, патриархальный, без конвульсий и забастовок капитализм не может не огорчить западного



читателя. Но ему не следует упускать из виду, что Солженицын писал не с натуры, а отталкиваясь от противного, имея перед глазами советского работягу, крестьянку Матрену, дворника Спиридона, чье положение он видит куда более тягостным и бесправным, чем положение не только современного европейского, но и русского рабочего начала века. Вот только захочет ли западный читатель поверить Солженицыну? Надежда Мандельштам, всю жизнь проскитавшаяся по дальним городам и чужим углам, по этому поводу бросила: «У меня собрано много наблюдений о физиологии и психологии голода, но нас интересуют только голодовки в империалистических странах»<sup>3</sup>.

Как бы то ни было, читателю бесполезно будет узнать, что на капитализм, оказывается, можно смотреть с разных сторон. Русская и советская литература вздыхают о тяжелой доле мужика, мастерового, бичуют хищника-фабриканта, кулака-миroeда. Солженицын же обращается к либеральной экономике как к выходу из советского экономического маразма. И это обращение столь же естественно и понятно, что и широкое устремление к социализму на Западе.

Но отдавал ли себе отчет писатель, что его «политэкономия», встретив понимание у отечественного читателя, будет шокировать западного? Думаю, что полемист-Солженицын шел на это сознательно и даже с публицистическим азартом.

Другое дело, что идеальный капитализм — задача, видимо, столь же неблагоприятная, что и социалистическая утопия, получившая название *социалистического реализма*. И страницы, рисующие быт и жизнь богачей, удались автору меньше всего.

Они грешат слащавостью, известной этической глухотой и какой-то, я бы сказал, лакейской дотошностью: «Ксения (...) села на извозчика, пересчитав свои поднесенные шесть вещей» (508).

Принявшись воображать жизнь богачей с ее «лягушино-замшелой» (29) мебелью, «выставкой хрусталя» (32) и «воздушно-вуалевыми, с медальончиками» (40) дамскими аксессуарами, рассказчик невольно оказывается в положении нувориша.

Идеализация всегда лапидарна и схематична. И черная с розовой краской не смешиваются в образах героев. Имущие персонажи наделены сердцем и широтой взглядов. Революционеры в «Августе» узки, самонадеянны, истеричны (в «Ленине» они еще более

3. Вторая книга, ИМКА-пресс, Париж, 1972, стр. 606.

однозны, но на другой лад). У них общие тики и ужимки: «Наум улыбнулся криво-презрительно» (533). Ленартович осклабился «кривоватой улыбкой сожаления» (451).

Но вернемся к общественно-политической атмосфере четырнадцатого года. Пока что от революционеров нет особого вреда. Науськивание рабочих на хозяев, уговоры зарезать курицу, несущую золотые яйца, не приносят ощутимых результатов. Простые люди не ропщут на свою судьбу. Трудовая Россия работает засучив рукава и не слышит марксистских сирен.

Подоспевшая через три года революция, уничтожив богатство немногих, принесла нищету всем.

Эффективную и гибкую инициативную экономику заменит тяжеловесная и расточительная машина государственной эксплуатации, по сравнению с которой все прежние конфликты и обиды будут выглядеть семейной ссорой.

Такая революция представляется Солженицыну анахронической и ретроградной. И Россия, встающая из мирных глав первого узла, могла бы прекрасно без нее обойтись.

## 4. НАРОД И ПРАВЕДНИКИ

*Посох мой, моя свобода,  
Сердцевина бытия –  
Скоро ль истиной народа  
Станет истина моя?*

Осип Мандельштам

«Страшно далеки они от народа», — писал Ленин о декабристах, первых русских диссидентах. Ленин, бывший, по мнению нынешних диссидентов, от народа дальше всех.

Революция в России разметала сословные, социальные перегородки. Врачи, учителя, адвокаты, инженеры попали в самую гущу городского пролетариата. Жили с ним в одной коммунальной квартире, стояли в одной продовольственной очереди, коротали вечера на всеобщих и обязательных курсах по историческому и диалектическому материализму.

А в идеологическом спектакле-карнавале им пришлось гораздо хуже, чем народу. Народ воплощал добро в романах, стихах, кинофильмах, газетах. За ним признавались целостность характера, верность сердца, инстинктивное классовое чутье, чувство спайки и преданность социалистическим идеалам. Интеллигенции же досталась маска порока. Она персонифицировала зло эпохи, объективировала навязчивые страхи аппарата: неисправимый индивидуализм, сомнение, рефлекссию, зыбкость убеждений, предрасположенность к идеологической порче и вредительской деятельности. Троцкисты, диверсанты, генетики, безродные космополиты, поэты, диссиденты стали Каином при великодушном и доверчивом Авеле, за чью безопасность никто бы не мог поручиться, когда бы не бессонная бдительность специальных органов.

Растворившись в массах, интеллигенция полностью избыла свой комплекс неполноценности и вины перед народом. Этим, вероятно, и объясняется ее сдержанность ко всякого рода доктринам, берущимся освободить народ от цепей. Ей-то уж известно,

что новые цепи рискуют оказаться тяжелее, долговечнее и длиннее прежних. И их хватит с избытком на всех.

Народная тема у Солженицына требует рассмотрения именно в этом историческом контексте. Его критика толстовства, преклонения перед высшей народной мудростью бьет рикошетом и по советской историографии. Наследница толстовского детерминизма, она лишь переложила его на развитие производительных сил. И превратив историю в механическую череду революционных катаклизмов (между ними прекращалась всякая история), отвела в них народу главную действующую роль<sup>1</sup>.

Народ Солженицына — не мессия, не «богоносец» и не носитель объективной истины. Андре Глюксман, раскрывший в солженицынском «плебсе»<sup>2</sup> неиссякаемый источник сопротивления, добросовестно заблуждается на этот счет.

Лагерь смешал русского интеллигента с Иваном Денисовичем и разбил розовое пенсне идеализации. Солженицыну, а через него и Нержину, открылось, что простые люди «не стойче его переносили голод и жажду. Не тверже духом были перед каменной стеной десятилетнего срока. (...) Зато они были слепей и доверчивей к стукачам. Были падче на грубые обманы начальства. Ждали амнистии, которую Сталину было труднее дать, чем околоть. Если какой-нибудь лагерный держиморда в хорошем настроении улыбался — они спешили улыбнуться ему навстречу. А еще они были много жадней к мелким благам: "дополнительной" прокислой стограммовой пшенной бабке, уродливым лагерным брюкам, лишь бы чуть поновей или попестрей.

В большинстве им не хватало той точки зрения, которая становится дороже самой жизни»<sup>3</sup>.

1. В 30-ые годы, правда, пришлось расчистить место для культа личности. Но общий смысл от этого не пострадал, поскольку выдающаяся личность могла ускорить ход событий, лишь упредив очередной ее, истории, скачок. Литературу и кино наводнили «прогрессивные» князья, полководцы, императоры. Массы, коим по-прежнему принадлежала решающая роль, безошибочно откликнулись на зов истории и, сметая с пути «вредную» личность, стадом бежали за «передовой». Симбиоз толстовской и монархической традиций камуфлировался вульгарно-социологическим марксизмом и подменой высшего промысла «прогрессом».

2. A. Glucksmann, *La Cuisinière et le Mangeur d'hommes* (Кухарка и людоед), Ed. du Seuil, Paris, 1975, pp. 42-50.

3. В круге первом, стр. 450-451.

Рассуждения об особой стойкости солженицынского «плебса», о том, что Идеология, легко проникая в мягкотелую культурную среду, отскакивает от народа как горох о стенку, — не слишком ли вольное толкование солженицынских текстов?

Хотя культура, по Солженицыну, не предохраняет от Идеологии и зачастую даже способствует образованию катаракты, застилающей реальную действительность, отсутствие культуры тем паче облегчает задачу вождей, опускающих Идеологию до уровня масс и приподнимающих массы до уровня Идеологии. Увиденные при этом светлые дали отвлекают от резкой боли в ушах — неперменного эффекта любой *культурной революции*, выбрасывающей народ из привычного социального и морального уклада в воспаленный мир барачных, лозунговых, топорных цитат, нормированного хлеба и ненормированной ненависти.

А то что простые люди в конце концов перестают верить посулам начальства, объяснять это особым плебейским разумом было бы слишком высокопарно. Собачье сердце тоже перестает радостно откликаться на звонок, не подкрепленный кусочком колбасы. Народ же, лишенный веры в начальство и еще до того лишенный начальством веры, — причина апокалиптического пессимизма Солженицына.

Нравственный взлет у Солженицына, христианского писателя, проходит не по массовому, а индивидуальному реестру. Подняться из грязи и рабства удастся лишь одиночкам, *праведникам*, без которых не стоит село, ни город, ни вся земля наша<sup>4</sup>. Они не желают копаться в грязи ежедневной борьбы за выживание, куда их бросил социализм. Но отказ Матрены откармливать поросенка — Глюксман особенно чувствителен к этому жесту — встречает насмешки и осуждение всей деревни. Народная молва неблагоприятна Матрене при жизни. *Праведник* — не конденсация плебейской морали, а вызов ей.

Самыми стойкими в лагере оказываются «религиозные преступники», то есть баптисты и сектанты, националисты, украинские и прибалтийские «лесные братья», ищущие правды интеллигенты нержинского толка, прозревшие старые революционеры — словом, люди, наделенные той «точкой зрения, которая становится дорожке самой жизни» и которой не хватает «плебсу».

4. Заключительные слова рассказа «Матренин двор».

*Праведники* сохраняют, регенерируют нравственную энергию нации, не дают ей целиком опуститься до состояния скотского хутора. Они-то и есть «живое отражение капитальной противоположности между сопротивлением и капитуляцией»<sup>5</sup> — умри Глюксман, лучше не скажешь. Но до этого состояния нужно взлететь. Оно не имманентно народу, каким его видит Солженицын. Призывая к массовому подвижничеству, он совсем не рассчитывает, что его слово будет услышано и подхвачено миллионами. Установка писателя — элитарная, опирающаяся на пример и моральный авторитет праведника, и не имеет ничего общего с глюксмановским ниспровержением авторитетов.

Заменив «массы» на «плебс» и сводя счеты с «левым кренинизмом»<sup>6</sup> — религией партийных кадров и прогрессивной, читай, привилегированной (знаниями и культурой) интеллигенции, *новая философия* в своем глюксмановском варианте сближается с добросердечным плебейским маккартизмом Солженицына, но это еще не резон делать из него маоиста.

Революционность Солженицына, разумеется, не изобретена левой критикой. Третий том «Архипелага» пылает неподдельным огнем лагерных и народных восстаний. Отвергая в принципе революцию и революционное насилие, Солженицын вопреки всему благословляет и воспекает бунт за правое дело, против вопиющего зла и насилия. На это противоречие между революционным духом писателя и его «христианским стоицизмом» уже справедливо указал Клод Лефорт<sup>7</sup>.

Думается только, что дело тут не в «стоицизме», а в опасении неконтролируемых взрывов народного возмущения, буйства толп, которые затем мирным ликующим половодьем разливаются по Фридрихштрассе или Красной площади в праздничном убранстве. Посвященный в эту безотказную логику, Солженицын уговаривает *вождей* отказаться от идеологии, освободить страну сверху, пока она сама не освободилась снизу, и предотвратить тем самым кровопролитие и падение в новую бездну.

Солженицын принимает сопротивление, когда оно регламенти-

5. Глюксман относит эти слова к Ивану Денисовичу. *La Cuisinière et le Mangeur d'hommes*, *op. cit.*, p. 45.

6. *Ibid.*, p. 36.

7. С. Lefort, *Un Homme en trop* (Лишний человек), Ed. du Seuil, Paris, 1976, p. 219.

руется и направляется христианской моралью, обращением к толпе духовных пастырей. Примиряясь со стихийным возмущением и даже сливаясь в революционном экстазе с восставшей толпой, Солженицын и первым приходит в себя, закликает войти в рамки строгих и непреложных христианских ценностей: покаяния, смирения, самоограничения, лежащих за тридевять земель от *перманентного сопротивления* Глюксмана.

Революционному и христианскому мироощущению романиста одинаково чуждо и понятие классовой борьбы. Солженицын без увлечения смотрит на политическое движение масс, различая в нем всегда опытную руку профессионального манипулятора. Парвус, один из руководителей революции пятого года, так разъясняет механику рабочего движения:

«Для забастовки, для возбуждения, для выхода на улицу не только не требуется согласное решение большинства, но даже и одной четверти массы, но даже и одну десятую избыточно подготавливать. Одиночный резкий выкрик из толпы, один оратор на проходной, два-три молодца, поднявших кулаки и палки, бывают вполне достаточны, чтобы дать импульс целой заводской смене не идти по цехам или выйти на улицу. А еще оставалось – осуждающие власть разговоры с соседями, передача пугающих слухов (такой слух как электрический заряд ударяет дальше без усилий), а еще оставался разброс листовок по заводским уборным, по курилкам, под станками, – для всех этих первых толчков на пятитысячный завод довольно и пяти человек, а таких пять человек всегда можно если не по убеждениям найти, то купить в соседнем трактире: кто из трактирных попрошаек не хочет привольных денег?»<sup>8</sup>

Странно, конечно, что опытный эсдек Парвус имеет такое упрощенное и анекдотическое представление о революционном подъеме. Но в бегемотоподобном Парвусе все подчеркнуто преувеличено и фантастически чрезмерно. Не будем принимать гротеск за учебник истории, тем более что Парвусу, несмотря на обилие «привольных» немецких денег, не удастся раздуть пожар. Пока народ не устал по-настоящему от войны, пока не испытал всех сопряженных с ней лишений, не разуверился окончательно в способностях правящего класса довести ее до благополучного и достойного конца, он вяло реагирует на выкрики бойких молодцов у проходной.

Но Парвус не заблуждается, предполагая постоянно тлеющее

8. Ленин в Цюрихе, стр. 146.

в толпе возбуждение и ее легкую воспламеняемость в благоприятных условиях. Он ошибается лишь в выборе момента.

К счастью, толпа у Солженицына выявляет готовность не только к коллективному психозу, но и к коллективному подвигу. Народ может быть и мародером, грабящим захваченный русскими войсками немецкий город. И героем, жертвенно прикрывающим отступление соседних частей. В первом случае восторжествовал дурной пример, злобный и заразительный инстинкт. Во втором — дошедшее до солдатских сердец слово полковника Воротынцева, одной из самых благородных фигур «Августа», «природного командира» (183) и отца своим солдатам.

Народ, увы, одинаково клюет и на добрый, и на злой призыв. Описав поочередно сцену грабежа и подвига, Солженицын готов держать пари:

«Перенесите нарвцев [мародеров – Э.К.] на место дорогобужцев [храбрых солдат – Э.К.], на этот неумолимый рубеж [где отличились дорогобужцы – Э.К.], но с Толстым не смирясь, дайте им Кабанова [полковника дорогобужцев – Э.К.] и его батальонных командиров – и взойдут они на то возвышение, где простых мужичков мы начинаем понимать богатырями» (354).

Народ — нейтральный материал, в равной мере пригодный для справедливой и для пагубной исторической акции. Большевикам удалось деморализовать русскую армию, *распустить ее по домам*, объявив раздел помещичьих земель, что не помешало им через год провести всеобщую мобилизацию под предлогом защиты этих земель, а через десяток лет отобрать их все до одной, обратив самих крестьян в колхозных крепостных.

Солженицын сетует на гражданскую незрелость русского народа, делающую его добычей беззастенчивых политиканов и минутного соблазна, на его готовность самозабвенно защищать свою деревню, волость, так называемую *малую* родину (крестьянские восстания против московской власти не затихали всю гражданскую войну), и в то же время на отсутствие в народе широкой объединяющей идеи, сознательного, а не угарного национализма.

Воротынцев, прежде чем обратиться к солдатам, перебирает мотивы, которые бы могли их тронуть. И он исключает все патристические и отвлеченные темы, оставляя простой и доступный аргумент: прикрыть отход товарищей. Пожертвовать собою ради ближнего, а не во имя далеких и заоблачных идеалов.



Критик Л.О. высоко оценивает предпринятую Солженицыным деидеологизацию народного героизма, «эту способность к жертве не ”за веру, царя и отечество”, не ”за родину, за Сталина”, а за то, чтобы поддержать сотоварищей в общей беде»<sup>9</sup>. Но критик, очевидно, не улавливает глубокого сожаления, с каким Солженицын рассказывает о невосприимчивости народа к гражданскому языку, когда Воротынцев, обращаясь к солдатам, «Отечества (...) выговорить не мог» (329). С не меньшим сожалением сообщает романист о печальном опыте генерала Нечволодова, написавшего для народа простую доходчивую книгу о России, ее истории и месте в мире. Книга не имела большого успеха и попала, как это обычно бывает, «под издевки людей образованного круга» (467). Там, где Л.О. находит «разгадку силы русского войска, его боевого духа в любой войне»<sup>10</sup>, там Солженицын вскрывает его слабость и причину поражения в войне революционной.

Как нам удалось установить, народная тема не подверглась в эпопее коренной ломке и мучительной ревизии. Почитатели Ивана Денисовича и дворника Спиридона могут следовать за автором, не опасаясь коварного виража, пусть эта тема и получила в «Августе» новое и заметное развитие.

Чтобы проследить его, обратимся сначала к роману «В круге первом» как к отправному пункту народной концепции у Солженицына и освежим в памяти «социальный эксперимент»<sup>11</sup> Нержина.

Нержин буквально охотился за Спиридоном, одолевая его разговорами и расспросами, он хотел выудить из него ту неуловимую и таинственную народную мудрость, которую неустанно искали великие писатели прошлого века и перед которой склоняли они свои могучие головы.

Спиридону выпала судьба, какой не знали ни Платон Каратаев, ни горьковские босяки. Революцию он встретил «зеленым» крестьянским партизаном, воевавшим с белыми и красными, в советское время стал «комиссаром по коллективизации»<sup>12</sup>, по-

9. «Август четырнадцатого» читают на родине (Сборник статей и отзывов), ИМКА-пресс, Париж, 1973, стр. 30.

10. «Август» читают на родине, стр. 30.

11. В круге первом, стр. 458.

12. Там же, стр. 455.

пал в лагерь за недостаточную рьяность на новом поприще. Освободившись, Спиридон опять включился в советскую жизнь и в 41 году ревностно эвакуировал на восток оборудование «родного завода». Когда пришли немцы, стал партизаном, чуть не дослужился до медали и вдруг добровольно отправился в Германию работать на завод, за что и угодил снова в лагерь, откуда ему, полуслепому и больному, не было уже никакой надежды выбраться.

«Несмотря на ужасающее невежество и беспонятливость Спиридона в отношении высших порождений человеческого духа и общества, — пишет Солженицын, — отличались равномерной трезвостью его действия и решения»<sup>13</sup>.

Они были подчинены одной цели. И этой целью была его семья. Он шел за ней повсюду, куда бы ее ни кинула война. Шел как зверь, не разбирая дороги, готовый броситься на выручку, вцепиться в горло обидчику, упасть под пулями.

«Понятия "родина", "религия" и "социализм" (...) были словно совершенно неизвестны Спиридону — уши его как будто залегли для этих слов, и язык не поворачивался их употребить.

Его родиной была — семья.

Его религией была — семья.

И социализмом тоже была семья.

И всех царей, председателей, попов и сеятелей разумного-доброгочестного, строчил и крикунов, прокуроров и судей, которым на протяжении жизни было дело до Спиридона, он, по вынужденности беззвучно, в сердцах посылал:

— А не пошли бы вы все на ...?!»<sup>14</sup>

Ларчик просто открывался, без всяких историософских и антропологических отмычек, обнажая свое небогатое содержимое в виде первоначальных родовых инстинктов. Что же такое Спиридон, неужели эталон народной души?

Когда Солженицын проводил эксперимент Нержина «В круге первом» (1955-1966), религия и социализм находились от него на одинаковом расстоянии, и он, в общем-то, полагался на Белинского и революционных демократов в том, что мужик — существо безрелигиозное и ходит в церковь по привычке и принуждению, как сейчас — на собрания и юбилей.

13. Там же, стр. 458-459.

14. Там же, стр. 459-460.

В «Августе» социализм сгинул с глаз Солженицына, а вера овладела всем его существом. И ларец народной души, казавшийся до того пустым и безблагодатным, осознался теперь хранителем бесценного сокровища. Солженицын доверяет уже не народникам и социалистам, а Гоголю, Достоевскому, Толстому. В «Августе» он возвращает народной душе ее нетленную реликвию, выброшенную и профанированную революцией.

И русский народ при всей своей незрелости и наивности предстает в эпосе христианским народом. В нем не редкостью были такие натуры, как Благодарев, ординарец Воротынцева, – верные, честные, услужливые, тактичные, не теряющие достоинства ни при какой погоде. Они пребывают в ладу с собой, с обычаем и вековым порядком своей страны. В них есть нечто подкупающее, благородное, сокровенное, и автор явно любит ими, чтобы не сказать *идеализирует*, глагол – излишне сильный в данной ситуации.

Черты, которые в прежних произведениях могли быть лишь достоянием *праведников*, становятся национальной, морфологической общностью изображенного Солженицыным народа...

Тогда как Бердяев в 30-ых годах допускал из-за границы, что в России происходит пуск варварский и бесчеловечный, но процесс «цивилизации рабоче-крестьянских масс, выходящих из состояния безграмотности»<sup>15</sup> (почему так возносится на Западе умение читать по слогам «Правду» или «Женьминьжибао?»), Солженицын сам участвовал в этом процессе и познал плоды новой цивилизации.

И вот теперь, в «Августе», вглядываясь в солдатский строй, отзывчиво внимающий словам Воротынцева, Солженицын со славянофильской печалью в голосе заключает: «С тех пор сменился состав нации, сменились лица, и уж тех бород доверчивых, тех дружелюбных, неторопливых, не себялюбивых выражений уже никогда не найдет объектив» (355).

Эта пожелтевшая ностальгическая фотография являет в конечном счете негативный снимок того народа, с которым писатель прожил жизнь. Озлобленного-хмурого, измученного погоней за копеечным заработком и очередями, народа «духовно вырожден-

15. Н. Бердяев, Истоки и смысл русского коммунизма, ИМКА-пресс, Париж, 1955, стр. 126.

ного»<sup>16</sup>, не верящего ни в Бога, ни в черта, а разве что топорным газетным байкам про козни невидимых и неперевоющихся врагов, сносящего покорно шестидесятилетнее иго. Народа, в который еще не ступала нога миссионера.

Вглядываясь вместе с автором в старинную фотографию, читатель понимает, что не мог гибельный замысел революции созреть в добрых и бесхитростных головах того исчезнувшего племени.

16. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 386.

## 5. КТО ВИНОВАТ?

Русская довоенная поэзия дышала ощущением близкого конца, предвещала гибель культуры и цивилизации, нарождение нового скифского варварства...

Россия, запечатленная Солженицыным, не слышала погребальных воплей символистов. Она жила в строительных лесах, в атмосфере творческих свершений, новоселья и урожайной страды, ожиданием счастливого и свободного будущего. Война свалилась на нее стихийным бедствием.

Несвоевременной и напрасной понималась война 14-го года патриотами: «Наоборот, всей Россией надо учиться у Германии, как хозяйство ставить» (65).

«Это подарок истории — такая война!»<sup>1</sup> — восторженно откликнулся на нее из эмиграции Ленин.

Без войны не случилось бы революции. Она пришла неожиданной и скоротечной развязкой беспроглядной четырехлетней драмы. Война обнаружила беспомощность царских генералов в ведении современных боевых операций, в управлении многотысячными войсковыми массами. Генералы загубили даже удачно начавшиеся бои. Недостаток артиллерии, ружей, неразбериха в снабжении и организации фронтов — все отражало слабость и архаичность бюрократических структур в стране, где не успела вызреть индустриальная революция.

Война не пощадила железного кайзера, развалила австро-венгерский трон. Неизбежным было и падение неразумного, окруженного карьеристами и тупицами, «голубоглазого» (560) русского императора.

И хотя у нас нет на руках томов, соответствующих этим событиям, можно быть уверенным, что писатель не станет радоваться Февральской революции. Из «Архипелага» и статей нам известно, что революция — не узловая станция на магистрали прогресса, но банкротство нации, ее неспособность мирным развитием изжить политические аномалии. Даже «полезная» и «необходимая» рево-

1. Ленин в Цюрихе, стр. 32.

люция таит в себе смертельный риск. Из ее виража трудно выйти, не сломав шеи.

В Петрограде не нашлось ни русского Мариу Соариша, ни русского Носке. Керенский дезавуировал генерала Корнилова, взявшегося *восстановить порядок*. Читатель задается вопросом, приветствовал ли бы Солженицын такую возможность? Думаю, что в его глазах надо быть идеологическим параноиком, чтобы предпочесть океаны крови ручью, пролитому *Кровавой Собакой* Носке. Если бы западный читатель чаще брал в соображение цифру в 60 – 70 миллионов истребленных жизней, он бы реже приходил в отчаяние от *реакционности* писателя.

Напрашивающееся возражение, что союз Носке с генералами, жаждущими порядка, подготовил почву для прихода фашизма, для Солженицына вовсе не возражение. Во-первых, для него фашизм ничем не страшнее сталинизма. И он отказывается принимать исторические события за фатальную неизбежность. Сегодня нужно бороться с опасностью левого тоталитаризма, завтра – правого.

Тем, кто боготворит Октябрьскую революцию, вряд ли понять Солженицына. Но даже тем, кто испытывает к ней только традиционно-культурное почтение, тяжело будет смотреть, как разбивает Солженицын мраморные головы революционных идиологов и легенд. Чтобы подготовить нашу чувствительность к этому акту вандализма, полезно взять в руки подлинные документы революции и гражданской войны. И в частности те, что вообще не принято читать, например, заявления белого генерала, или, как называет его советская легенда, *Черного Барона* Врангеля<sup>2</sup>. Знакомясь с ними,

2. «Воспоминания генерала барона П.Н. Врангеля». Посев, 1968. Книга эта – малотиражная, и я позволю себе привести из нее характерный отрывок:

«Можно держаться самых разнообразных взглядов на желательность того или другого государственного строя, можно быть (...) социалистом, даже марксистом, и все-таки признавать (...) советскую республику образом самого небывалого, зловещего деспотизма, под гнетом которого погибает и Россия, и новый ее, якобы господствующий, класс пролетариата, придавленный к земле, как и все остальное население. (...) Гнездо реакции в Москве. Там сидят поработители, трактующие народ как стадо. Только слепота и недобросовестность считают нас реакционерами. (...) Большевики боятся всякого правильного законного представительства, в котором может вылиться воля народа. А мы стремимся установить минимальный порядок, при котором народ мог бы (...) свободно собраться и свободно выразить свою волю» (Часть вторая, стр. 123).

я, признаться, ловил себя на странной мысли, что если в них заменить *большевиков* на *коммунистов*, речи Врангеля вполне бы сошли за речи генерала Эаниша, нынешнего президента Португалии, произнесенные под аплодисменты всей прогрессивной Европы после подавления им ультралевого путча.

Отчего же в России оказалась битой карта всех спасителей отечества? Ответить на этот вопрос исчерпывающе можно будет по выходе последующих томов эпопей. Но уже в «Августе» и «Ленине в Цюрихе» мы начинаем догадываться, почему «внутренняя реакция», победившая в Германии и Венгрии, потерпела крах в России, почему из трупа русской монархии пророс ленинский режим.

Довоенное общество в «Августе» насквозь пропитано революционными и социалистическими идеями. Идеологический террор царствует в прессе, салоне, университете и чуть ли не в армии. Профессор Андозерская вызывает возмущенный ропот аудитории, когда она объясняет студентам тему своего предмета – средневековые рукописи. «Это о мракобесии?.. католицизме?.. инквизиции?..» (503). Ведь принято изучать лишь прогрессивные разделы истории, восстания и, уж конечно, под «социально-экономическим» (504) углом зрения. Нет, подумайте только, «уйти из бесполезные мрачные Средние века?» (502)!

Поручик Ленартович, активный социал-демократ, преспокойно занимается агитацией в армии. И не его вина, если «солдаты его взвода оказались, как на подбор, далекие не то что от пролетарской идеологии, не то что от зародыша классового самосознания, но даже простейшие экономические лозунги, которые в их прямую пользу идут, – долдонными своими головами не могли усвоить» (305).

Зато в образованном кругу его понимают с полуслова. Имя славное казненного дяди-революционера, что носит Ленартович, распахивает перед ним любую дверь и душу, отдаваясь в ней уважительным трепетом. С инакомыслящими Ленартович держится с позиций морального превосходства, да и те принимают за должное его тон, даже армейские люди «теряются перед уверенной молодостью» (137), боятся показаться ретроgrадами и реакционерами.

Как рыба в воде чувствуют себя ленинские эмиссары в культурной и буржуазной среде. Из толстых кошельков льются щедрые поступления в партийную кассу. Россия промышленников и

высокопоставленных либералов содержит профессиональных партийцев и прячет их от не слишком ретивой полиции.

Революционеры, в сущности, узурпировали тот авторитет, который утеряло государство в лице никчемной монархии. В России правительство было окружено моральным карантинном. В какой еще другой стране общественность могла извлекать «долю политической радости» (496) из поражений своей армии?

По модели Солженицына, значительная часть русской интеллигенции больна отщепенством, отравлена либерально-народническим, социалистическим ядом и становится объективным соучастником гибели России. Писатель вскрывает ее безмерную терпимость, политическую слепоту и упоение революционной фразой — все, что сделало общество безоружным в трагическом девятьсот семнадцатом. Час России пробил «не тогда, когда гнали Колчака, не тогда, когда бушевал февральский Петроград — гораздо раньше»<sup>3</sup>.

У Керенского, вчерашнего революционера, не достало ни решимости, ни авторитета, ни общественной поддержки, чтобы твердо и недвусмысленно выступить против враждебной свободе ленинской партии, чтобы войти в историю не жалкой, а зловещей фигурой (история неблагоприятна) русского Носке.

Преследуемому, изгоняемому отовсюду интеллигенту восемнадцатого года оставалось, по грустному замечанию Бердяева, пенять на самого себя. Большевики имели право ответить ему теми же словами, что ответил отцеубийца Смердяков Ивану Карамазову: «Вы сами тогда все говорили, что все позволено, а теперь-то почему так встревожены сами-то-с?»<sup>4</sup> Смердяковы революции осуществили без лишних слов то, о чем полвека толковали ее иваны карамазовы.

Ссылкой на Бердяева мы отмечаем важный источник влияния на романиста. Свое представление о революционере он, вне всякого сомнения, почерпал из сборника статей Бердяева, Булгакова, Франка, Гершензона и др., вышедшего под названием «Вехи» в 1909 г. В нем были «подвергнуты резкой критике материализм, позитивизм, утилитаризм революционной интеллигенции, ее рав-

3. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 99.

4. Цитирую по Бердяеву. Сб. «Из глубины», ИМКА-пресс, Париж, 1974, стр. 93.



нодушие к высшим ценностям духовной жизни»<sup>5</sup>, — как подытожил содержание книги Н. Бердяев.

«Вехи» — этот русский коллективный раймонд арон, долгое время был известен у себя на родине лишь по уничижительным отзывам Ленина<sup>6</sup>, до того как сделаться с помощью самиздата настольной книгой оппозиции.

К веховскому направлению мы отнесем и другой сборник, «Из глубины» (1918 г.), написанный примерно теми же авторами по горячим следам революции, которая подтвердила их худшие опасения.

Появившийся в 1974 г. при активном участии Солженицына сборник «Из-под глыб» заявил себя последователем веховской мысли, ее третьей книгой.

Герой «Августа» Ленартович — *portrait-robot* русского революционера, каким его запомнили «Вехи». В нем художественно претворены их впечатления: тотальное отрицание существующей власти и социального порядка, отказ от какого-либо конструктивного участия в демократическом строительстве (отщепенство), преклонение перед абстрактным народом, сочетающееся с острой неприязнью к конкретному «темному» мужику. Здесь и устремленность к абсолютному «все или ничего», за которым кроется инстинкт самоуничтожения, смерти. Здесь и приверженность формуле «чем хуже, тем лучше» (134), разрешающей Ленартовичу открыто радоваться виду бегущих и раненых солдат.

Те же чувства овладевают и Лениным за чтением военных сводок в Цюрихе: «Чем крупнее были цифры, тем радостней: все эти убитые, раненые и пленные вываливались из самодержавного частотокола и ослабляли монархию»<sup>7</sup>. Смердяковское восхищение немецкой мощью и расчеты на нее исходят отнюдь не от Солженицына, как разъяснила советская пресса, а от некоторых героев эпопеи — политических нигилистов, антипатриотов, *пораженцев*.

Русский читатель, что и говорить, не привык к такому обращению со своими революционерами. «Бесы» — далекий прецедент, не получивший существенного литературного продолжения. Изображение Солженицына настолько отличается от всего, что написа-

5. Истоки и смысл русского коммунизма. ИМКА-пресс, 1955, стр. 93.

6. О «Вехах», Соч., 4 изд., т. 16; его же, Еще одно уничтожение социализма, там же, т. 20.

7. Ленин в Цюрихе, стр. 85.

но в русской и советской литературе о революционере, что оно вышло поистине революционным. Высказывание по этому поводу «демократического коммуниста» П. Егорова в полной мере выявляет остроту солженицынского «кощунства»:

«Революционерами становились лучшие люди народа, (...) не способные спокойно смотреть на насилия, угнетения, издевательства над народом "сильных мира сего". Они рекрутировались из таких, как (...) Алеша Карамазов, у которого в ответ на описание травмы ребенка псами произвольно вырвалось: "Расстрелять!" (...) Без них все бы замерло на земле, застыло в гниющем смраде. И тот же Солженицын, мечущий сейчас грома и молнии против революционеров и революций, не нашел бы где издать свой "Архипелаг ГУЛаг", так бы истлели они – и "Архипелаг" и его автор – если бы не ряд революций, которыми Запад завоевал свою демократию»<sup>8</sup>.

Оба эти подхода столь же непримиримы, что и оба революционных типа: трафаретно-героический и солженицынский. Как и у Егорова, у Солженицына более чем достаточно оснований стоять на своей версии:

«Через сто лет после зарождения русского революционного террора мы уже без колебаний можем сказать, что террористическая мысль, эти действия были жестокой ошибкой революционеров, были бедой России и ничего не принесли ей, кроме путаницы, горя и запредельных жертв»<sup>9</sup>.

Революционерам Солженицына не с кем делить вину. Из списка подозреваемых мы исключили последовательно «народ» и «экономику», в ту пору не оставлявшую желать лучшего. Но у революционеров были сообщники: либеральная интеллигенция, культурный класс России. И им сопутствовали благоприятные условия: гражданская незрелость народа и бездарность царизма. Немецкие армии сыграли роль генерала Зимы, которому на Западе приписывают разгром Наполеона.

Революционеры ленинского призыва были оружием нового образца. И как всякое новое оружие, они не знали умелого и организованного отпора, действенных средств гражданской самообороны.

8. Социалистическая оппозиция в Советском Союзе сегодня (на французском языке), Масперо, Париж, 1976, стр. 127-128.

9. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 97.

## 6. РОДОСЛОВНАЯ РЕВОЛЮЦИИ

Некоторые русские поэты-диссиденты обвиняют Блока и символистов в том, что они накликали беду, разбудили демонов, спящих на дне народной души. Бедных символистов вместе с Марксом повесткой вызывают на суд истории. И не помогают оправдания, что апокалиптические пророчества раздавались в ту пору на любой широте поэтической и философской Европы. В России они сбылись, и суд неподкупно строг. На скамье подсудимых нет свободных мест.

С опозданием на 60 лет (такие дела не закрываются за давностью срока) раскрыты и названы имена виновных. Но сами события, заваленные горами казенной макулатуры и изысканиями зарубежных полутчиков сталинизма, еще не вполне расчищены, прояснены и зияют недостающими звеньями. Ленин, объявивший населению России гражданскую войну (она не закончилась и по сей день, но ее признаки выдаются за специфику русского пути к социализму), в отличие от Франко не получал массивной иностранной помощи (после крушения Германии ее неоткуда было ждать). В отличие от Франко, отпихнувшего ногой, как и он, избирательную урну, Ленин имел против себя не арифметическое, а подавляющее – по распространенному в оппозиции убеждению – большинство страны. Как же удалось Ильичу навязать себя, изнасиловать многонаселенную и необъятную державу? Известно, что в первый год, когда не было еще ни мощного аппарата, ни троцкистской армии, ни пропагандистской машины, советская власть держалась на волоске, на смехотворном перевесе малочисленных ружей и рот. И все-таки она продержалась до тотальной мобилизации, и все-таки она выдюжила. Что же помогло ей: рок, нечистая сила, декаденты?

Таинство и победный смысл Октября образуют сердцевину современной политической проблематики. В нее вклинивается ответ романиста. И читатель только выиграет в понимании солженицынской историографии и последующих томов, ознакомившись с основными точками зрения на революцию, бытующими в русском

общественном сознании. С ними перекрещивается, совпадает и спорит действие эпосов.

Одно из основных течений оппозиционной мысли – писатель квалифицирует его *западническим, либеральным* – рассматривает русскую историю вечным поединком двух противоположных генетических традиций: европейской и азиатской, на пересечении которых расположилась географическая Россия.

Европейская тенденция проявила себя в дотатарском гражданском укладе, новгородском вече, в абсолютизме Ивана III, в аристократической фронде XVIII века, в думах, в земстве, в Февральской революции.

Азиатская – это татарщина, Иван Грозный, императоры Павел и Николай I. Октябрь – сокрушительный реванш черной традиции над европейскими и демократическими перспективами века, отбросивший страну во тьму времен.

Не его ли предсказал за столетие вперед родоначальник западничества Чаадаев?

«Мы принадлежим к числу наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-то важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, что мы обречены ради человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?»<sup>1</sup>

А в 1970 г., отчаявшись дождаться этого предназначения, Эдуард Кузнецов с группой товарищей пытается захватить советский самолет. На суде он заявляет:

«Я считаю, что типовая структура политической культуры русского народа может быть названа деспотической. (...) Осознав себя евреем [по отцу, умершему в 41 г. и которого Кузнецов не помнит, – Э.К.], не ощущая в себе ни склонности к властвованию, ни любви к безропотному подчинению, не питая надежд на радикальную демократизацию исконно репрессивного режима в обозримом будущем, (...) я решил покинуть пределы СССР. Борьба с советской властью считаю делом не столько невозможным, сколько ненужным, так как она вполне отвечает сердечным вождениям значительной, – но, увы, не лучшей – части населения»<sup>2</sup>.

1. Журнал «Телескоп», 1836, т. 34, № 15.

2. Дневники, «Les Editeurs Réunis», Париж, 1973, стр. 80.

Было бы ошибочным, однако, мыслить современный русский исторический критицизм лишь в крайне пессимистических и самоубийственных тонах. Чаще всего он вызван гражданской болью, потребностью искоренения дурной наследственности. Одним из примеров такого рода является недавняя работа историка-диссидента Александра Янова «Комплекс Ивана Грозного»<sup>3</sup>, где автор прослеживает последствия этого комплекса и его преодоление на разных этапах русской истории.

Оплотом западничества в шестидесятые годы был журнал «Новый мир». «Типовая структура» отечественного уклада была зафиксирована им на языке Эзопа как византийская. Это означало теократию, беспредельную власть самодержца-первосвященника, поглощение личности государством и отсутствие элементарной законности. Противоположностью ей была западная, римская структура, основанная на праве, писаном и неписаном, на отделении светской власти от духовной. Она позволяла человеку чувствовать себя независимой и социально значимой величиной в пределах своего сословия. Из европейской истории вылупились гуманизм, права человека и демократия.

Новомирская мысль при всей своей рудиментарности и теоретической наивности — первая в советской прессе и общественном сознании легальная попытка вырваться из гипса марксистской, официальной идеологии. И она стала идейным подспорьем демократического движения, развернувшегося в конце шестидесятых годов под флагом академика Сахарова.

Солженицын, начнем прямо с этого, не разделяет общих взглядов западничества. И у него имеются на то серьезные причины. Во-первых, из-за аллергии ко всякому детерминизму и политическому структурализму (впрочем, без них он все же не обходится, когда предупреждает о коммунистической угрозе). И во-вторых, национальная гордость не позволяет ему признать Россию рассадником деспотизма («не такие-то мы рабы, как нас заплевали во всех либерально-исторических исследованиях»<sup>4</sup>).

Особенно неприятно Солженицыну представление об Октябрьской революции как об осуществлении древней русской мессианской идеи, возникшей из обломков Византии: Москва — Третий

3. *Континент*, № 9, № 10, 1976.

4. *Архипелаг ГУЛаг*, т. 3, стр. 30.

Рим, а четвертому не быть! В статье «Раскаяние и самоограничение» он пишет:

«Так (...) в натяжках и перескоках идея Третьего Рима вдруг выныривает в виде... Третьего Интернационала! С ненавидящим настоянием по произволу извращается вся русская история для какой-то все неулавливаемой цели – и это под соблазнительным видом *раскаяния*! Удары будто направлены по Третьему Риму да мессианству, – и вдруг мы обнаруживаем, что лом долбит не дряхлые стены, а добивают в лоб и в глаз – давно опрокинутое русское национальное самосознание»<sup>5</sup>.

В возобновившемся после почти что столетнего перерыва споре между западниками и славянофилами Солженицын берет сторону последних. Ленинскую революцию (вот мы и добрались до нее) он со славянофилами видит триумфом материалистического, безбожного духа, проникающего беспрепятственно в Россию с эпохи Петра и грозящего ей утерей национальной души и самобытности. По отношению к западникам – это полная инверсия причинно-следственных факторов и духовно-политических полюсов.

Вслед за националистами Солженицын ополчается на безликие города-муравейники, на забвение дедовского языка и обычая, ворчит на современную молодежь в джинсах с ее «магнитофонами и лохмокудрыми девушками»<sup>6</sup>, на сексуальную распущенность и распад семьи.

Но писатель слишком велик, чтобы целиком уместиться в одной из партий. Не позволяя никому «оплевывать» Россию, сам он бросает в ее огород вещи похлеще кузнецовских:

«Отчизна наша такова: чтобы на сажень толкнуть ее к тирании – довольно только брови нахмурить, только кашлянуть. Чтобы на вершок перетянуть к свободе – надо впрячь сто волов и каждого батогом донимать: "Понимай, куда тянешь! понимай, куда тянешь!"»<sup>7</sup>

Такого не услышишь от националистов, которые, кстати сказать, весьма прохладно встретили его «Август», найдя безжалостный портрет русской армии несправедливым и неисторичным<sup>8</sup>.

5. Из-под глыб, стр. 133.

6. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 475.

7. Там же, стр. 473.

8. «Август» читают на родине, стр. 43.

Наконец, охранительная реакция Солженицына перерастает в широкую и целостную экологическую программу, мало чем отличающуюся от современных западных, но далекую от центра интересов его национальных спутников.

Добавим еще, что национализм писателя не экспансивный, а интенсивный. И ему чужд культурный изоляционизм. Солженицын не участвует в попытках соскоблить с родной культуры влияние модернизма и постреволюционного авангардизма, вытравить из нее следы Маяковского, Бабеля, Мандельштама и всех русских писателей нерусских кровей, угодивших в черный список сегодняшней славянофильской Москвы.

Другой координатой революционной модели Солженицына служат уже упоминавшиеся «Вехи». В одном из своих интервью 76 года писатель набросал либретто революционного процесса в России, где прямо дает себя знать веховское прочтение истории:

«Просвещенный русский царь [Александр II] приступил к реформе, но кучка революционеров, опасаясь, как бы народное благополучие пришло не от них, а от царя, провозгласила, что реформы надо проводить и радикальнее, и быстрее, что они не хотят ждать. Они начали террор, охотились за царем-освободителем, как за диким зверем, и наконец убили его. А либеральная общественность стала террор приветствовать, сочувствовала террористам и поддерживала их. В результате, и общественность, и правящие круги ожесточились, возникли озлобление и ненависть, правительство перестало давать даже то, что хотело и могло дать, все перспективы мирного развития страны оказались отрубленными... Дальнейшее известно»<sup>9</sup>.

На первый взгляд, это довольно точное воспроизведение веховской схемы. Бердяев, например, считает Октябрь синтезом социалистической интеллигенции «в ее максимальных течениях» и «русской исторической власти»<sup>10</sup>. «Соединив в себе две традиции, которые находились в XIX веке в смертельной вражде, Ленин мог начертить план организации коммунистического государства и осуществить его»<sup>11</sup>.

Однако внимательно перечитывая Солженицына, мы отмечаем

9. *Посев*, 1976, № 5, стр. 28.

10,11. Истоки и смысл русского коммунизма, ИМКА-пресс, Париж, 1955, стр. 99.

в его тексте важные коррективы. Не опровергая исходных веховских данных, писатель меняет их величины и соотношения. Так, он куда как менее суров к царю и не ставит его, как Бердяев, на одну доску с революционерами. Жестокости царской администрации — детские шалости по сравнению с деяниями ленинской партии и ее предшественников:

«Мы-то теперь, имея подлинную линейку [подчеркнуто мною — Э.К.] для измерения масштабов, можем смело утверждать, что царское правительство не преследовало, а бережно лелеяло революционеров себе на погибель. Нерешительность, половинчатость, слабость царского правительства ясно видны всякому, кто испытал на себе судебную систему безотказную»<sup>12</sup>.

Царский режим, по Солженицыну, никак нельзя назвать деспотическим, потому что он был связан по рукам и ногам христианской моралью и общественным мнением, свободно изливавшимся через прессу и думскую оппозицию. Начиная со второй половины прошлого века, со времен Александра II, монархия уже мало что общего имела с «русской исторической властью», с тенью Ивана Грозного. Ее жестокость была лишь бледным ответом на терроризм революционеров.

И к ним-то романист гораздо беспощаднее веховцев, тоже не питавших к революционерам особой нежности. Но веховцы, по крайней мере, отдавали должное их побуждениям: «Мотивы эти нужно видеть прежде всего в страстном, негодующем протесте против зла и страданий жизни, в сострадании к несчастным, обездоленным, угнетенным»<sup>13</sup>. И образы революционеров в русской классике соответствуют характеристике Бердяева. Мы находим тут и кающихся дворян, и бунт Ивана Карамазова, возвращающего Богу свой билет, не желающего променять всю гармонию будущего на слезу замученного ребенка. Клинический анализ их душевного состояния поражает бешеным внутренним давлением.

Но «проклятые вопросы», заставляющие мальчиков Достоевского ночи напролет спорить в грязных кабаках о Боге, о вселенском счастье, о мировом братстве, показались бы солженицынским героям недостойной настоящего революционера мелкобуржуазной экзальтацией. В «Августе» они эволюционировали в от-

12. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 87.

13. Истоки и смысл русского коммунизма, стр. 35.



кровенно одиозный тип. Их душевный мир лишен всякой трагической глубины, он выродился в печатную схему готовых идеологических реле и полупроводников, меняющихся после очередного съезда или конференции.

Из всех великих чувств они сохранили холодную презрительную ненависть: к Богу, церкви, отечеству. А также идеологический фанатизм, превращающий любые общественные институты и социальные образования в объекты, подлежащие уничтожению.

Большевизм, уверяли веховцы, «воспользовался свойствами русской души, во всем противоположной секуляризированному буржуазному обществу, ее религиозностью, ее догматизмом и максимализмом, ее исканием социальной правды и царства Божьего на земле, ее способностью к жертвам и терпеливому несению страданий, (...) воспользовался русским мессианством, (...) верой в особые пути России»<sup>14</sup>. Солженицын, негодуя по поводу теории «Третьего Рима» и назначая самые жестокие удары ее современным адептам, принимается, в сущности, за Бердяева, от кого и пошла гулять эта «Русская идея»<sup>15</sup>.

Писатель меньше чем кто-либо верит во врожденный тоталитаризм народа. Ведь максимализм, страстотерпие, способность преобразовать жизнь в духовный подвиг — удел одиночек, праведников, наделенных священной «точкой зрения», и эти качества не могут быть характеристикой народа в целом.

Солженицын не стал бы спорить с другим веховцем, Аскольдовым, что революция пробудила в русском народе зверя, с той лишь оговоркой, что «озверение» охватывает в подобных условиях любой народ, и даже самый цивилизованный.

Марк Ферро, хорошо осведомленный историк русской револю-

14. Истоки и смысл русского коммунизма, стр. 115.

15. Название книги Бердяева, где она особенно подробно изложена (ИМКА-пресс, 1971).

Между прочим, Бердяев указывает на сходство Третьего Интернационала с Третьим Рейхом. Тут бы философу и пересмотреть свою теорию. Ан нет, ведь «национализм всегда был немецким заимствованием на русской почве» (Истоки и смысл русского коммунизма, стр. 73) и не имеет отношения ни к Московскому Интернационалу, ни к «универсальному» порыву русской души. Бердяеву прощительно так думать: в его время русская «универсальность» еще не приняла ялтинских размеров и имперский миф еще дремал в марксистской колыбели.

ции, утверждает, основываясь на многочисленных материалах, что насилие не родилось с Октябрем, что оно предшествовало ему и вихрилось в февральской толпе<sup>16</sup>. Обременяя национальную наследственность советской власти, он тем самым разгружает по мере возможности ответственность большевиков.

Для Солженицына сама постановка вопроса — порочна. Революционеры-то и ожесточили народ, натравливая чернорабочих на инженера-«очкарика», разбрасывая листовки в уборных Путиловского завода, крича: «Долой министров-капиталистов!», призывая солдат воткнуть штыки в землю, а еще лучше — в своих же офицеров и нести красного петуха домой, в деревню.

Не забудем также, что советская власть никогда, или почти никогда, не была республикой плебса, обращающей суды линча в народные трибуналы, в виселицы и гильотины общественного правосудия, что позволяет канализировать народную ярость и смягчать постепенно разнузданные революцией нравы. Большевики не ставили такой задачи. И Советы, лишённые тотчас же после Октября всякого суверенитета и выборного характера, не стали и не могли стать гражданской школой.

Расправившись со своими пастырями, народ оказался лицом к лицу с новыми укротителями, помахивающими бичом ЧК и декретов. Власть эта с самого начала воспринималась диктатурой чужих и враждебных народу элементов, диктатурой над ним, по признанию одного же из укротителей. Ее идеологический язык звучал для населения тарабарщиной, и сама она часто выглядела иностранной оккупацией, «когда в продовольственном или карательном отряде, приходившем уничтожать волость, случалось — почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны и австрийцы, когда аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадярами, китайцами»<sup>17</sup>.

Большевики разбудили в народе зверя, а потом превратили его в зверя затравленного, ничуть не заботясь о его национальной и культурной специфике, которой они не признавали ни за одним из народов, населяющих русскую империю.

В бердяевском противопоставлении русского духовного максимализма западной секуляризованной и атомизированной лично-

16. M. Ferro, *La Révolution de 1917*, Aubier, Paris, 2 vol., 1967 et 1976.

17. Из-под глыб, стр. 135.

сти сказываются страх и благоговение барина-интеллигента перед народом, созерцаемым с университетско-философской башни. Они исчезли, когда башню сравнивали с землей. Что же до «мессианства», то теперь на Руси в него верят только русопяты и национал-большевики, путающие мессианизм с советским военным флотом в Индийском океане и считающие свой народ (русопяты — деревенский, большевики — рабочий класс) чище, умнее и храбрее всех прочих.

Выведа революцию из народного духа, Бердяев не сомневался, что она «порождена своеобразием русского исторического процесса и единственностью русской интеллигенции. Нигде больше такой революции не будет»<sup>18</sup>.

Он и думать не мог, что коммунизм взойдет пышным цветом в разных частях земного шара, что *под сенью дружеских штыков* он обоснуется в самом сердце Европы и обнаружит повсюду общие черты.

Тоталитаризм для Солженицына — не мистическое свойство славянства, ему подвержены все расы, и «светлое зарево коммунизма, залившее уже полнеба»<sup>19</sup>, не ослабевает своего триумфального шествия.

Поэтому выводить из православной аскетике хулиганский атеизм со срыванием и топтанием икон, классовую ненависть и колхозы — пустая и оскорбительная игра ума.

Сталин почти окончил духовную семинарию, но португальский генсек Куньял не обучался в Загорске и не проходил стажировку в Тихвинской пустыни. И русская интеллигенция, приняв гидрозную ванну марксизма-ленинизма, обрела универсальный покров, делающий ее неотличимой от корейских, гватемальских или кубинских товарищей.

Солженицын не верит в «особые пути». Он различает лишь разные стадии коммунистического заболевания. В маоистском Китае он, как и все русские, видел карикатурную аналогию советским тридцатым годам. В Южной Америке террористические акты свидетельствуют об инкубационном периоде. А в Португалии ситуация как две капли воды напоминала февральскую лихорадку.

И если Португалия не дала увлечь себя в бездну, причины лежат не в особенностях загадочной латинской души. Одна из них — бла-

18. Истоки и смысл русского коммунизма, стр. 109.

19. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 541.

горазумный выход из войны, на что в 17-ом году не сумело отважиться романтическое Временное правительство, верное союзническим обязательствам. Другая заключается в том, что «наставление», о котором говорил прозорливец Чаадаев, не прошло, видать, даром и европейская прогрессивная общественность протянула руку не Куньялу, а Соаришу.

Русские были первыми. У них не было ни примера, ни иммунитета. Но они будут и первыми, кто, по мнению авторов сборника «Из-под глыб», выберутся из-под этих глыб. И в этом смысле допускается мечтать об «особом пути» России, о ее сокровенной миссии сестры милосердия. В красной пустыне, что охватит неминуемо все человечество, воспрянувшей России суждено, может быть, стать первым оазисом истинной свободы, христианской крепостью и здравницей.

«Коммунизм на Западе есть другого рода явление. (...) Можно мыслить коммунизм в экономической жизни, соединяемый с человечностью и свободой»<sup>20</sup>, — писал «левый» веховец Бердяев, предвосхитивший Плюща и еврокоммунизм.

Коммунизм всегда и всюду один, возражает Солженицын, даже если в каждом отдельном случае сквозь него проступают национальные черты и своеобразие. Коммунизм обнажает самое худшее в стране и человеке; родовые слабости и дурная наследственность достигают в коммунизме максимального выражения. И в этом отношении он действительно национален. Во всех же других — абсолютно идентичен. Он как чума, как проказа, как опухоль. Он «вгрызся в тело России, ослабленное Первой мировой войной»<sup>21</sup>, и алкает ненасытно новой добычи.

Всем он опасен, но одних он сражает наповал, других душит не до конца. Политические лекарства, «новейшие средства», накопленные годами рекомендации могут лишь пригодиться в лечении. Но важнее всего — ясное и всеобщее осознание того, что вам выпал не редчайший шанс, не прогрессивное чудо, коему нелепо и бессмысленно противиться, а тяжкий недуг.

И все же лечение лечением, но одни национальные организмы оказываются и сами по себе более стойкими, чем другие. Так же как чума, косившая население Индии, была снисходительнее к английским колониальным войскам, так и коммунизм почти «не

20. Истоки и смысл русского коммунизма, стр. 109, 116.

21. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 31.

прилипает» к некоторым странам, должен был констатировать Солженицын.

Сетуя на гражданскую неразвитость русского народа, на его глухоту к национальной и гражданской идее, не делает ли он таким образом шага навстречу западникам, не признает ли он в русской хрупкости частичную обоснованность их концепций или правомерность их исторического подхода в форме, более приемлемой для своих национальных чувств?

Этим, скорее всего, и объясняется холодный прием, уготованный «Августу» крайними националистами. Упреки в «германофильстве»<sup>22</sup>, в преклонении перед немецкой военной организацией суть вторичные эффекты их раздражения и, на наш взгляд, совершенно несостоятельны.

Солженицын не придумал разгрома самсоновской армии, а попытался разобраться в его причинах. И если ему исходить из того, что русская армия не уступала немецкой ни выучкой, ни оснащением, ни офицерами, то надо было бы признать, что она уступала ей боевым духом, чего бы не простили писателю ни славянофилы, ни западники, одинаковые патриоты своей земли. Хотя такое допущение не заключает в себе ничего святотатственного: немцы, как-никак, обороняли свою родину, — Солженицын себе этого не позволяет. Он рисует немецкий патриотизм таким же недалеким, чопорным и квасным, что и официальный русский.

Романист высмеивает высокопарные рассуждения царских кавалерийских генералов о «духе», о том, что немцы умеют-де воевать лишь по системе да по учебнику. А мы станем драться с ними по-русски, «НЕ ПО СИСТЕМЕ, не по порядку» (207), одним духом. Вот немец растеряется и побежит.

Не исключено, что мистиков *земли и крови* задел сарказм Солженицына. Но, если уж актуализировать его прицел, писатель метил более всего в сталинское руководство, угробившее в последнюю войну не меньше двенадцати миллионов солдат. Посылая дивизию за дивизией в лобовые атаки, в прославленные «сталинские удары», топя немецкие огневые позиции дешевым пушечным мясом, оно прикрывало свою «стратегию», презрение к народу и цинизм колониальных губернаторов разговорами о «морально-бое-

22. Рукописный журнал «Вече» за 1972 г. В сб. «"Август" читают на родине», стр. 51.

вом духе советских войск», в спину которых были направлены для пушей уверенности пулеметы заградотрядов.

Защита «грамотной» войны стоила Солженицыну странных обвинений. От нее, нам говорят, «попахивает технократией»<sup>23</sup>, «западничеством в мещанском смысле этого слова»<sup>24</sup>.

*«Перекрестный огонь критики, обрушившейся на Солженицына из лагеря "универсалистов" и из лагеря "националистов", свидетельствует о его непринадлежности ни к тем, ни к другим, указывает на то, что он идет каким-то своим, третьим путем...»* – так комментирует идейные бои на восточном фронте их непосредственный и пронизательный участник А. Веретенников<sup>25</sup>.

Чем же вымощен «третий путь» Солженицына?

Описывая военную и революционную катастрофу и обстоятельства изнасилования и растления несовершеннолетней народной России, писатель приближается к «универсалистам»-западникам.

Вскрывая *нездешнюю* природу советской власти, представляя революционеров «беспочвенными», оторванными от русской жизни и истории, а их идеологию – эманацией западного буржуазного, материалистического сознания, Солженицын проявляет чистейшей воды славянофильство.

Но занимая направо и налево, Солженицын влезает в долги. Западники не прощают ему пренебрежения к политической эмансипации личности и общества, огульного осуждения русского культурного класса, только и сумевшего, по Солженицыну, что расшатать авторитет и органические устои государства.

Для националистов, то есть крайних славянофилов, роману недостает ни Вагнера, ни «Александра Невского». Им кажется недопустимым и уныло-рациональным объяснить поражение русского войска «двойным превосходством немцев в артиллерии» (196), восхвалять «беспрекословную прусскую дисциплину и подвижную европейскую самодеятельность» (111) и считать Россию слаборазвитой в идейном отношении страной.

И те и другие находят и не находят себя в романе. И те и другие испытывают от него болезненную неудовлетворенность.

23. «Август» читают на родине, стр. 44.

24. Там же, стр. 51.

25. Там же, стр. 64.



# ЧАСТЬ ВТОРАЯ





## 7. "НОВЫЙ КЛАСС" СОЛЖЕНИЦЫНА

Модель дореволюционного общества у Солженицына обнаруживает заметное расхождение не только с вдохновляющими ее идейно-философскими источниками и омывающими ее течениями современной русской мысли. Она отличается и от литературно-исторических документов изображенной эпохи. По их общему свидетельству, общество постигло жестокое разочарование после революции 1905 года. Оно утратило вкус к насильственным акциям, ореол революционера потускнел и влияние радикальных групп пошло резко на убыль. Не случайно большевистские брошюры тех лет всю громят *ликвидаторов*, усталых, ударившихся в мистику и порнографию дезертиров революции.

Солженицын, думается, слишком уж сгущает краски в своем историческом полотне. Студенты четырнадцатого года не могли пребывать в безраздельном плену вульгарно-социологического марксизма. Ни Соловьев, ни Ключевский, ни Милюков не приучили их мыслить его категориями. Марксизм вообще никогда не был головным направлением в русской альма-матер. И общественная мысль уже на рубеже двух столетий освободилась от народнического ига, нигилизма и социального утилитаризма. Атмосфера в студенческой и университетской среде, если верить запечатлевшей ее с натуры трилогии А. Белого<sup>1</sup>, была иной, чем в революционных кружках. Чарующее невежество и агрессивность солженицынских студентов напоминают скорее рабфаковцев, друзей комсомольской юности писателя...

И взгляд его, обращенный к старой русской интеллигенции, затуманен нередко горечью ровесника советской власти, не прощающего своим предшественникам заблуждений, наивности и терпимости, так дорого всем обошедшихся.

1. На рубеже двух столетий, Bradda Books Ltd., Letchworth, Hertfordshire, 1966; Начало века, ГИХЛ, М.-Л., 1933; Между двух революций, Изд-ство писателей в Ленинграде, 1934.

Солженицын не делает большой разницы между противниками самодержавия и противниками буржуазно-демократического общества в целом. Политизированная интеллигенция в романе являет амальгаму либералов с радикалами (для европейского читателя это было бы примерно то же самое, что смешать в одну кучу Татчер, Миттерана и Куньяла). Все они, либералы и революционеры, извлекают «долю политической радости» (496) из самсоновской катастрофы, что явная натяжка. Пораженческие настроения были характерны лишь для незначительного меньшинства социал-демократов, шедшего по этому вопросу за Лениным.

Критика веховцев не простиралась дальше социалистов, и смердяковское «А теперь-то почему так встревожены сами-то?» — не касалось либералов. Веховцы не судили о либералах, затем что сами к ним принадлежали. Отрицание политического либерализма имело мало смысла по тем временам. Он был оплотом просвещения, культуры, земства, гражданского и хозяйственного управления. А «Вехи» — одной из его идейно-этических платформ со своим, как водится, левым и правым флангом, Бердяевым и Булгаковым...

Не будем в претензии к Солженицыну за то, что он прокладывает, как всегда, свою лыжню, не считаясь с укатанными дорожками. В истории часто бывает первичной не жизнь, а литература. Ретроспективные объяснения устраивают нас больше, чем скрупулезная близорукость современников, к тому же редко умеющих договориться между собой.

И если мы ищем угол расхождения романической модели с так называемой «реальностью», то лишь для того, чтобы лучше усвоить эту модель и понять, результат ли она непреднамеренного художественного пасьянса или реализация продуманного плана.

Сопоставляя «Август» со статьями самого писателя и его единомышленников по сборнику «Из-под глыб», мы склоняемся ко второму ответу. Нам достаточно будет сослаться на одну из статей «из-подглыбовца» Агурского, где тот прямо утверждает, что либерализм и революционный экстремизм состоят в сознательном заговоре и роют с дьявольской сосредоточенностью и коварством могилу западной цивилизации<sup>2</sup>. Солженицын отбрасывает на прошлое тень этих идей.

Но спрашивается, откуда пришли они в настоящее, откуда та-

2. *Континент*, № 5, стр. 143.

кая враждебность к либерализму и парламентаризму в стране, где эти явления должны притягивать сладостью запретного плода?

Одна из причин — печальный и скоротечный опыт Февральской республики, рана которой не зарубцевалась и по сей день. Другая — отношение западных демократий к Советскому Союзу и другим «прогрессивным» тоталитарным режимам, кажущееся любому русскому путаным, слепым и самоубийственным, какой была в свое время поддержка либералами ленинской партии, хотя Солженицын ее и преувеличивает.

В стихийном маккартизме советского человека — большая заслуга международных попутчиков Гулага, прославленных философов и писателей Запада. К чему, спрашивает он, культура, знания, свобода информации и слова, если все это не мешает обвести себя вокруг кургузого сталинского пальца?

Нельзя забывать и то, что в России всегда культивировалась ненависть к умеренным течениям. Они были козлом отпущения и для реакционеров, хотевших перекрыть дорогу в Россию капитализму, предотвратить превращение ее в республику лавочников и черни. И для революционеров, ненависть которых к либералам не знала границ. Либерал в революционной России (а ее библиотечку и унаследовал в основном советский читатель) был синонимом осторожности, трусости, пресмыкательства перед властью и полицейской нагайкой.

Можно предположить, что уснувший рефлекс подключился к политической психологии диссидента, как только оборвалась его последняя связь с советским миром, где либерал оставался в качестве умеренной, лояльной оппозиции и, стало быть, в качестве соглашателя, сообщника *вождей*, питающегося объедками с барского стола. Закономерно ли переносить эти чувства с нынешних либералов на прежних? — поговорим об этом позже, а пока что отметим сам «перенос».

Но перечеркивая либерализм и умеренный социализм, две карриатиды, на которых держится политическая надстройка современного буржуазного общества, Солженицын не может не встретить известных архитектурных затруднений, воспроизводя его русский дореволюционный вариант. Будь писатель врагом капитализма, не было бы и проблем. Так нет ведь, Солженицын ему не враг. Он сторонник свободной рыночной экономики, необходимой, по его мнению, любому нормальному и здоровому обществу.

Как же писатель выходит из положения? А следующим образом. Он открывает в этом обществе его главное действующее лицо, мимо которого якобы прошла надменная и рассеянная госпожа История.

Не либералу, а ему, новому герою Солженицына, – ДЕЛАТЕЛЮ, РАБОТНИКУ, ХОЗЯИНУ – обязана Россия своими успехами и достижениями. Не покладая рук, он трудится на строительной площадке страны, не давая себя увлечь в шумное и пустопорожнее политическое коловращение, в курилку либеральных болтунов.

Интеллигент понимался в старой России как враг правительства. «И всякий, кто имеет РЕТРОГРАДНЫЕ взгляды – тоже у нас не интеллигент, хоть будь он первый философ» (374). Новые люди Солженицына: инженеры, предприниматели, ученые, агрономы – ни за, ни против правительства. Они знают от автора, что власть сама по себе не может быть ни плохой, ни хорошей. Они довольны уже тем, что она апеллирует не к Идеологии, а к христианским принципам.

Политические и социальные институты современного государства – все равно непродуктивные, бюрократические органы, с которыми приходится мириться, пока они не гипертрофированы, пока они не забывают главного: работы, дела.

«... меня больше беспокоит, как СОЗДАВАТЬ, – признается Ободовский, талантливый и энергичный организатор русской промышленности. – Лучшие головы и руки страны должны идти на это, а распределят головы и послабей» (533).

И не только распределять, но и управлять не стремятся они: «Деловые умные люди не властвуют, а созидают и преображают, власть – это мертвая жаба» (527).

Из всех видов общественной деятельности Ободовский уважает лишь те, что выполняют технические, хозяйственные, административно-учетные задачи. «И студенты, и страхование, и бюро труда, и порты, и торговля, и банки, и технические общества – все России нужно» (526), – считает этот бывший анархист, уверенный, что не предал идеалов молодости и своего учителя Кропоткина.

Новый герой Солженицына не скрывает свой неприязни к «говорунам» (536), политиканам, «гуманитаристам» (532): «Юристов у нас развелось, простите, как нерезаных собак» (135).

Все что ни есть честного, серьезного, добросовестного в романе,

все, что принадлежит к живым ветвям общественного древа, стекается в лагерь работников и патриотов. Для них Россия – превыше всего и, в первую очередь, превыше личных, групповых, словесных, партийных интересов. Сюда в полном составе входит клан инженеров и компетентных военных, отстраненных царем от ключевых постов в армии.

Этический барьер отделяет их от остальных героев романа. Мы уже наблюдали его между инженерами и революционерами. Еще заметнее он в армии.

В «Августе» невозможно вообразить себе военного, который бы, говоря словами поэта, искал себе славы и царю чести, будучи при этом толковым, храбрым солдатом, что называется *военная косточка*. Честолюбие, карьеризм – удел некомпетентных генералов. На их же стороне – трусость, интриги и просто низкий умственный уровень. Зато настоящие специалисты – все патриоты и «в этой кампании не для себя лично искали» (147). Они, как один, умны, смелы, находчивы, талантливы и не держат камня за пазухой.

Положительность и отрицательность военных персонажей подчеркнуты элементарными графическими средствами, чтобы читатель сразу видел, что это за птица. Бездарного генерала мы тотчас же распознаем по его надутому и чванному виду, по каким-то неприятным, отталкивающим черточкам. Специалисты же с первых строк добиваются нашего расположения.

Так, с предубеждением вглядывается командующий Самсонов в полковника из Ставки, приехавшего, очевидно, все вынюхать и доложить наверху. И неожиданно открывает, что «в этом офицере (...) ничего неприятного нет» (88). Да и кого не покорит «летучий светлый взгляд» (437) Воротынцева! Не шпионом, а помощником верным стал он Самсонову...

Очертить идейный и социальный профиль представителей «нового класса» не так-то легко. Их союз не скреплен ни догмой, ни общим социальным или национальным происхождением. Здесь мы встречаем самых разных людей. Это и полковник Воротынцев, образованный, тонкий человек, открытый передовым идеям и веяниям своего времени. Это Ирина Томчак, чистая душа, верная заветам старины и религии отцов (декадентская и переводная литература не водится на ее полке). Это и прапорщик Ярослав Харитонов, юноша из либеральной семьи, оскандаливший родственников выбором военной карьеры. Это и сторонник крутых мер, во-

енно-полевых судов, что одни и могут остановить мародерство в занятой Пруссии, полковник Крымов. Человек он угрюмый, но честный и бесстрашный солдат (через три года, в августе семнадцатого, он пустит себе пулю в грудь после неудачной попытки двинуть на столицу дивизию и покончить с беспорядками). Это, наконец, инженер еврей Архангородский, которому принадлежит в романе знаменитая фраза:

«— С этой стороны — черная сотня! С этой стороны — красная сотня! А посредине десяток работников хотят пробиться — нельзя! Раздавят! Расплюшат!» (539)

Труженики и патриоты, они хотят одного: чтобы не отрывали их от настоящего дела, не мешали бы строить Россию. Не либералы, а они — кариатиды русской государственности. «Нам бы десять лет спокойного развития — не узнать бы ни нашей промышленности, ни нашей деревни» (526).

Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Она не отпустила им чаемого срока. Война смешала их планы. «Конечно, куда веселей было бы состоять с Германией в "вечном союзе", как учил и жаждал Достоевский. Куда веселей было бы так же развивать и укреплять наш народ, как Германия — свой. Но — сложилось воевать, и гордостью наших генштабистов было — воевать достойно» (111).

Они сделают все, что в их силах, чтобы спасти страну. В них революционные гробовщики России найдут главное препятствие своим расчетам. Между ними и революционерами возникнет конфликтная тяга эпопеи.

Как мы смогли убедиться, национальная идея подминает в романе социальную и политическую. И к ней открыт доступ всем без исключения: презирающему царя Воротынцеву и монархисту Нечволодову, религиозным девушкам и евреям.

У них, повторяем, нет политических амбиций: «собственно власть нам ни к чему» (527). Их не возбуждают «траги-опереточные» (495) заседания Думы. Они занимаются антиполитикой и презирают от всей души рвущийся к власти («мертвой жабе») рой «честолюбивых адвокатов» (536), среди которых, надо полагать, тоже имеются свои специалисты, ибо где же им быть еще?

В кругу генштабистов? В их «компетентной» диктатуре?

Но эта единственная, по сути, альтернатива осужденному либерализму и представительной демократии даже не рассматривается в «Августе».

То ли до нее не дошла еще очередь, то ли в запаснике русской истории не нашлось для того подходящей зацепки...

Но почему бы и не объяснять это тем, что антидемократические тенденции Солженицына не идут дальше определенных пределов? Что автор — несколько безответственный и непоследовательный полемист, не спешащий ринуться в проделанные им же бреши, что художник в нем — благоразумнее своего полемического alter ego?

А может быть, в Солженицыне сильна анархическая закваска, и его общественный проект отражает перекошенную на советский лад идею политической экологии, которая отвергает монополию власти и передачу ее *компетентным органам*, политическим технократам и партиям?

В споре с академиком Сахаровым Солженицын говорит:

«... общество, где действуют политические партии, не возвышается в нравственности. И в сегодняшнем мире все больше проступает сомнение, и маячит нам поиск: а нельзя ли возвыситься и над парламентской много- или двухпартийной системой? не существует ли путей ВНЕПАРТИЙНОГО, вовсе БЕСПАРТИЙНОГО развития наций?»<sup>3</sup>

Пути такие существуют, Солженицыну ли этого не знать! Есть два способа «возвыситься» над представительной, делегированной демократией. Какой же из них «маячит» писателю вдалеке: подлинная, раскрепощенная от засилья партийных аппаратов демократия или «нравственная» диктатура?

«Проклятый вопрос» об отношениях Солженицына с демократией нуждается в полной ясности, и мы посвятим ему всю следующую главу.



## 8. ДЕМОКРАТ ЛИ СОЛЖЕНИЦЫН?

Ленинизм для Солженицына — могильщик свободы и демократии. И по самой посылке — он демократ. С другой стороны, писатель почти уверен, что демократия не в состоянии противостоять нашествию тоталитаризма, внутреннего и внешнего. Он возмущается излишками и злоупотреблениями свободы в современном западном обществе, терпимостью к подрывной деятельности ее врагов, разрушительным эгоизмом социальных категорий — и предсказывает закат Европы, неминуемый, как и падение Февральской республики.

Впечатление такое, что во имя сохранения свободы он готов допустить отказ от нее.

Для западного политического и морального сознания центральным императивом является свобода. Ему подчинено все остальное, в том числе социализм, коммунизм и даже социальная справедливость. У Солженицына и близких ему в центре всего находится коммунизм как враг рода человеческого, как инкарнация исторического зла и возмездия, как инстинкт смерти и самоуничтожения человечества. Все остальное оценивается по своей способности сопротивляться коммунизму. В том числе и свобода. Происходит смещение понятий и пропорций, с которым ничего не поделаешь.

Выросший в тоталитарном лоне Солженицын тяготеет к абсолютной судьбе. Демократия, то есть равновесие противоборствующих сил, движение в неизвестность, не удовлетворяет писателя. В его речах прячется стремление к эсхатологической полноте, недоверие к зыбкой и ненадежной свободе — то, о чем говорил Бердяев применительно к русским революционерам.

Мы уже отмечали, что темперамент Солженицына совмещает в себе два подхода к действительности: тоску о высшей цели и земную потребность в тепле и уюте налаженной жизни, сумрачный аскетизм и горячность неопита в апологии капитализма. Когда он смотрит на Россию, то думает, что могла бы она быть свободной и бо-

гатов, не хуже своих европейских соседей. Когда он обращается к Западу, то улавливает запах серы и видит все укоряющим взглядом Костоглотова или испепеляющим — Ленина.

Реакция Солженицына — это реакция Эзка, который, выйдя из заключения, приходит к горькому убеждению, что люди не умеют пользоваться свободой, довольствоваться тем немалым, что у них есть, что жизнь их прогорает в ничтожной суете, в погоне за призрачными символами счастья, пока в один прекрасный день (или, вернее, ночь) к ним не постучат с ордером на арест...

Но тот, кто не умеет разумно распорядиться своим достоянием, быть может, и не заслуживает его? Наследство свободы легко растратить, промотать актами своеволия, и в диссидентской литературе мы сплошь и рядом находим противопоставление свободы своеволию. Солженицын преодолевает двойственность своего зрения тем, что отделяет свободу от демократии. Демократия перестала быть гарантом основных свобод и, стало быть, синонимом их. А раз так, то сохранить и отстоять их удастся лишь только посредством институционных предохранительных клапанов, которые оберегая общество от своеволия, от издержек анархии и демократической суеты, в то же время обеспечивали бы ему оптимальный уровень необходимых свобод.

Такой порядок вещей, гарантируя свободу совести, хозяйственной инициативы, развитие философских и социологических исследований — всего, о чем говорил Ободовский и по чему изголодался советский интеллигент, препятствовал бы угрожающему скоплению паров в социальной сфере, молекулярному брожению партий и парламентских комбинаций, расточительным забастовкам, деятельности подрывных групп («противников свободы»), деградации нравов и разгулу порнографии, особенно шокирующему многих русских диссидентов.

Для России, чья «готовность к демократии, весьма низкая в 1917 году, могла за эти полвека только снизиться»<sup>1</sup>, такой режим был бы, что и говорить, огромным шагом вперед. Но и Запад сумел бы в рамках новой дисциплины оправиться от демократического своеволия, расхлябанности и эгоизма и обрести высшее назначение, утерянное лет двести назад уходом от Бога к материальной мамоне и золотому тельцу.

Этот режим и стал бы в будущем тем историческим перекрест-

1. Из-под глыб, стр. 25.

ком, где встретятся снова западная и восточная ветви единой христианской цивилизации.

Было бы заблуждением причислять Солженицына к убежденным и непримиримым врагам демократии, какими выглядят некоторые «из-подглыбовцы». Просто писатель не видит проку в войне с режимами, опирающимися не на избирательное право, а на моральный регламент, если к ним рано или поздно должно прийти человечество, задыхающееся в чаду «истребительно-жадного прогресса»<sup>2</sup>, духовного гниения и вобравшего голову в плечи под постоянно занесенной угрозой коммунизма, этого Божьего бича, ниспосланного нам за грехи и безумие.

К тому же, поворот от авторитаризма к демократии таит в себе бесчисленные опасности. Это лишний раз показали события в Португалии. А смерть Франко словно окунула писателя в прошлое его страны. Оно стало неожиданно близким, рукой подать от Швейцарии, где он поселился поначалу в изгнании. И Солженицын поспешил в Мадрид, заклиная испанцев быть осторожными и не забывать про тормоза.

Но в словах его сквозило колебание, безошибочно уловленное аудиторией: к чему весь этот головомолный вираж на спуске, стоит ли рисковать всем, чтобы очутиться в ситуации, дышащей вечной неустойчивостью, зыбкой переходностью, ежедневной и изматывающей борьбой за сохранение самого себя? Разве не спокойнее и не надежнее было при долголетнем правителе, с которым сорок лет назад в стране «победило мировоззрение христианское»<sup>3</sup>? «Хорошо, — допускает писатель, — завтра Испания станет такой же демократической, как и вся Европа. Но послезавтра, послезавтра — сохранит ли Испания эту демократию, защитит ли ее от тоталитаризма, который хочет проглотить весь Запад?»<sup>4</sup>

Надо плохо знать Солженицына и его программные статьи, чтобы сомневаться в ответе. Авторитарный панцирь — единственная защита от коммунизма.

Не стоит делать из писателя апологета сокрушительной диктатуры. Его устроил бы лишь тот авторитаризм, что без всякого семантического нажима сочетался бы с определениями *христианский* и *правовой*. Он согласен чтить лишь ту власть, которая чтит

2. Там же, стр. 117.

3. *Континент*, № 8, стр. 431.

4. Там же, стр. 437.

бы свои собственные законы. Солженицын испытывает биологическую, англо-саксонскую привязанность к праву и питает отвращение к культу грубой силы.

Власть, по его политическому катехизису, не должна быть тяжелой и вездесущей, но сводиться к необходимому минимуму неизбежного зла. И это уже мысль славянофилов, примирявшая их с русской монархией. Солженицын хочет ограничить власть санитарными, охранительными функциями и не ждет от нее творческих импульсов. Он даже готов признать мандат *вождей*, если те откажутся от Идеологии и не станут мешать восхождению общества на новых, христианских началах.

Черт с ними, с вождями! Дело не в них, а в нас. «И пока мы в себе не превзойдем праха, не будет на земле справедливых устройств – ни демократических, ни авторитарных»<sup>5</sup>.

«Мировая разделительная линия добра и зла проходит не между (...) партиями, не между классами, (...) не между людьми», а «пересекает сердце каждого человека»<sup>6</sup>. Она пролегает не по Пиренеям или Дунаю, а через людей, страны и институты.

«По отношению к истинной земной цели (...), – провозглашает писатель, – государственное устройство является условием *второстепенным*»<sup>7</sup>. Государство, созданное христианским народом, не может быть плохим, пока оно не изменяет самому себе.

И гражданская добродетель его подданных измеряется, в том-то и дело, не политическим зудом и расположением выйти в любой момент на улицу, но сознательным отказом от своеволия и подчинением общему благу. «После западного идеала неограниченной свободы, после марксистского понятия свободы как осознанно-неизбежного ярма, – вот воистину христианское определение свободы: свобода – это САМОСТЕСНЕНИЕ! самостеснение ради других!»<sup>8</sup>

Все насущные проблемы современности – проблемы этические, и даже «устранение привилегий – задача нравственная, а не политическая»<sup>9</sup>. Отрицая необходимость политического мышле-

5. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 512.

6. Из-под глыб, стр. 118.

7. Там же, стр. 27.

8. Там же, стр. 144.

9. Там же, стр. 21.

ния, Солженицын не видит в нем проку даже в таких областях, как политэкономия. Он заменяет ее экономией моральной:

«Стимул к самоограничению еще никогда не существовал в буржуазной экономике, но как легко и как давно он мог быть сформулирован из нравственных соображений!<sup>10</sup> Исходные понятия – частной собственности, частной экономической инициативы – природны человеку, и нужны для личной свободы его и нормального самочувствия<sup>11</sup>, и благодетельны были бы для человечества, *если бы только...* если бы только носители их на первом же пороге развития *самоограничились*, а не доводили бы размеров и напора своей собственности и корысти до социального зла, вызвавшего столько справедливого гнева, не пытались бы покупать власть, подчинять прессу. Именно в ответ на бесстыдство неограниченной наживы развился и весь социализм»<sup>12</sup>.

В ответ на «бесстыдство» капитализма и социализма, их прекращающиеся внутренние и внешние распри Солженицын предлагает моральный контракт, который бы стал базой национальной консолидации и международного сотрудничества. Ряд его положений (одних – для западного, других – для восточного пользования) уже конкретизирован автором и представлен суду обществу.

Солженицын ратует за прекращение «истребительно-жадного прогресса» и потребительской лихорадки, за развитие безвредных и необходимых человеку отраслей промышленности, за «устранение привилегий», не вытекающих из заслуг человека перед обществом, за поощрение частной и кооперативной инициативы. Солженицын предлагает России выбросить дубинку международного жандарма и заняться освоением сибирских пространств...

Излагая свой план, Солженицын, очевидно, не ведает, что вещает политической прозой. Посылая нас самосовершенствоваться

10. Так ли это? Капитализм всегда формулировал себя нравственно и долгое время воспринимался чуть ли не благотворительной деятельностью: «давал работу», «кормил обездоленных». «Самоограничение» – ценность тоже не новая и занимала почетное место в традициях «протестантской» буржуазии.

11. Предположим, самочувствие рабочего, закручивающего гайки на конвейере, капитализм в расчет не берет, а вот писатель-моралист должен бы.

12. Из-под глыб, стр. 145-146.

ся и *ковать душу*, он тем временем разработал нам настоящую политическую программу.

Примем ее с благодарностью, но и не утаим известных опасений, которые Солженицын мог бы легко рассеять, ответив на несколько вопросов.

Связана ли судьба проекта с подсчетом голосов его сторонников и противников? Дозволят ли нам регулярно обсуждать его осуществление (в храме или специально отведенном для того месте, в прочих странах именуемом «парламент» — не столь уж важно, и говорим об этом лишь постольку, поскольку сам Солженицын учит не мешать Божье с кесаревым)? Будет ли нам дана возможность через какое-то время сменить его проект на лучший или менее плохой и будет ли такая возможность возобновляться регулярно каждые четыре-пять лет?

Не скроем, что без этих гарантий почитателям Солженицына будет казаться, что он собирается осчастливить их насильственно и что авторитарный инструмент может быть употреблен не только для «самостеснения», но и для стеснения других, то есть по своему прямому назначению, к чему нам не привыкать стать.

Увы, Солженицын ничего не делает, чтобы успокоить читателя: Россия не созрела для демократии, Запад перезрел для нее...

Когда Солженицын путает политику с моралью (что мы ему охотно прощаем) и отказывается признать свою политику политикой на том основании, что она у него правильная и праведная (пусть он укажет нам хоть один общественный проект, который бы считал себя вздорным и опасным), — это еще полбеды.

Хуже, когда он, упорствуя в той же «логической ошибке», путает слабости, лимиты и накладные фасады современных демократий с Демократией вообще и на этом основании пророчит ей преждевременную смерть и дружески толкает на евтаназию, чтобы скорее попала в авторитарный рай и убереглась от коммунистической преисподней.

«Логическую ошибку» я взял в кавычки, потому что дело тут, очевидно, не только в логике; авторитаризм и демократия — это две веры, два темперамента, две психеи...

О демократии Солженицын судит свысока. Запущенный в небо советским ракетоносителем, он наблюдает ее с высоты птичьего полета и через авторитарную оптику. Потому и не замечает он живых сил и надежд, порожденных самой демократией и являющихся ее великим шансом, которого грех не попытать. Но тут-то мы

и соскальзываем на глазах Солженицына в пропасть своеволия...

Я был бы рад заверить читателя, что авторитаризм Солженицына – литературный, утопический, как роялизм Бальзака, как пролетаризм Брехта. Что он, по всей видимости, не признает своего замысла ни в одном из его современных воплощений и сделался бы непременным противником русского, возникни он на родной почве по его расчетам и наброскам.

Но это было бы неосторожное поручительство. Солженицына никак не назовешь романтиком, реакционным или прогрессивным. Жизнь и лагерь сделали его реалистом. И хотя он призывает к всеобщему самосовершенствованию и аскетическому очищению, он не больно-то верит в способности человека приблизиться к заветному рубежу. Его рецепты «самостеснения» имеют целью оградить человека прежде всего от самого себя.

Он лишает его бесценного дара, дара свободы, и в этом заключается противоречие не только политического, но и христианского идеала писателя, отмеченное, между прочим, некоторыми его соотечественниками и единоверцами. Его христианство – однозначное, ветхозаветное. А Бог – жестокий и карающий. Ему неведомы милосердие и сострадание. Он общается с народом через избранных, диктуя им свои указы и наставления.

Стремясь неустанно и неуклонно к абсолютной судьбе и моральной целостности, Солженицын рискует быстро потерять терпение, коли уже не начал его терять, спотыкаясь о несовершенство человеческой природы и упрямство инакомыслящих. На этом пути его подстерегает соблазн деспотизма, и он будет не первым и не последним, кто угодит в этот капкан. За неимением стройной и продуманной теории Великого Инквизитора, он может схватиться за один из попавшихся под руку его эмпирических образцов. Гнев и нетерпимость, которые все чаще прорываются в статьях и интервью писателя, свидетельствуют о реальности такой опасности.

Кстати, как намерен он поступать с нехристианами в завтрашней христианской России? Не подпускать их к строительной площадке без предъявления членской карточки или нательного знака? И как быть с христианами, что не согласились бы променять всю гармонию будущего на один окрик Солженицына, на один его литературный шпицрутен?

Писатель объявляет себя врагом любой Идеологии, сторонником социального, национального и философского плюрализма. Но

приходится сомневаться, что ему будет уютно в этом постоянно меняющемся, распахнутом настежь и беспокойном мире.

Солженицын не жалеет суровых слов для своих соотечественников. Он клеймит всеобщее разгильдяйство и разболтанность, работу спустя рукава, уход в узкий мир личных интересов, воровство, пьянство, обман, безверие — все то, в чем другие видят пассивное сопротивление режиму, признаки его подспудного разложения. Но не выдают ли справедливые обвинения Солженицына еще и тайную тревогу, как бы деидеологизация советского общества не привела к необратимому центробежному распаду той «соборности», того монолита, частицей которого он приучен ощущать себя с детства?

Христианское мировоззрение Солженицына призвано остановить этот неизбежный распад. Но не принимает ли оно, в силу своей центристской роли, густоты табу и запретов, в силу своего элитарного и одновременно пассивно-массового характера, — черты настоящей Идеологии? Не становится ли его мировоззрение ее невольным Субститутом? Утверждая, что «глубиннейший ствол нашей жизни — религиозное сознание, а не партийно-идеологическое»<sup>13</sup>, он ставит его тем самым на одну доску с Идеологией. И неспроста Солженицын влечет принцип «самостеснения»: на него опирается любая идеология, вытесняя все, что не отвечает ее морально-идейным нормативам...

Что же предлагает Солженицын взамен «западного идеала неограниченной свободы» и «осознанно-неизбежного ярма» социализма? Если мы правильно поняли, авторитаризм как историческую неизбежность и «самостеснение» как *осознанную необходимость*?

В позиции писателя слишком много несомненного, кровью оплаченного, чтобы была нужда огораживать его стеклянным колпаком от малейшего аналитического ветерка. При всем своем пронзительном чутье и громовой силище голоса, Солженицын — не вседержитель истины (вспомним, во что обошлась нам вера в них), а соискатель ее вместе с нами, грешными. Не будем же балзамить его заживо. Истина рождается в дискуссии, до того как попасть в мавзолей.

Следуя этому убеждению, я пытаюсь рассматривать писателя не как классика, а как живое, развивающееся, не застывшее еще в

13. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 456.



бронзу явление. Благоговейная робость, наподобие той, что испытал Саня Лаженицын в Ясной Поляне перед «Великим Старцем» и над которой немало посмеялся Солженицын, была бы дурным помощником...

Поскольку расследованию подлежит связь между художественной моделью «Августа» и историческими взглядами автора и поскольку здравый смысл и интуиция подсказывают, что ее своеобразие и противоречия продолжают своеобразие и противоречия общественного проекта писателя, работа принимает откровенно политический оборот.

А в этой области еще никому не удавалось быть беспристрастным. Преклоняясь перед автором «Архипелага» и расходясь с ним во взглядах, не преуспею в этом и я. Симулировать научную объективность, которая в политологии часто подразумевает подмену дискуссии педантичным нравоучением, выглядело бы претенциозно и жалко на фоне солженицынской громады.

Если из любви и мятежа прорежется равнодействующая объективности – тем лучше. Все, что я могу взять на себя, – это быть добросовестным и подробным в изложении солженицынских взглядов и дотошным в обосновании того, что мне кажется в них противоречивым и ошибочным.

Таким лирическим отступлением, долгожданной оказией высказать свое исследовательское кредо, – завершим генезис солженицынских идей, чтобы перенести их контуры на историко-политическую карту России.

Прежние славянофилы были, как известно, противниками капитализма и хранителями коммунально-общинных ценностей, в коих тогдашние западники усматривали тормоз прогрессу и оплот деспотизма. Нынешние национально мыслящие русские, за исключением крайних националистов, махнули рукой на «буржуазный рационализм и раздробленность», и частная собственность стала для них залогом экономического и духовного здоровья любой цивилизованной нации. Выйдя когда-то из социалистических представлений о русском народе как о неприспособленном к капитализму, как о слишком *хорошем* и *широком* для него, они забыли нынче о своих идейных дебютах. Прежние славянофилы призывали власть и интеллигенцию заряжаться от народа мудростью и истиной – их наследники берутся воспитывать народ, нести в на-

род Евангелие и, вернув его к благочестивой, трудовой, честной и скромной жизни, строго оберегать от дурного глаза.

«Кривая» западничества – более плавная. Увлекаясь в прошлом веке Фурье и Сен-Симоном, западники и сейчас открыты идеям демократии, реформизма и *демократического социализма*.

Окончательного закрепления признаков за обоими видами, тем не менее, не произошло. Случаются и славянофилы – либеральные демократы (центристы) и умеренные социалисты (мы не касаемся национал-большевиков, чтобы остаться в оппозиции); нередкость и западники – приверженцы авторитаризма, но без православия и народности.

Привязанность к праву и законности – единственное связующее звено различных течений русского диссидентства и Солженицына с демократами: «У нас ведь *права* нет, закона нет, да и человека нет – есть документ!»<sup>14</sup>. В осуждении социалистических тенденций и «демократической анархии» он смыкается с «правыми» славянофилами и западниками.

Трения и полемика между всеми этими группами, осколками прежнего идеологического монолита, достигают уже такого накала, что в них можно видеть зародыш партийной междоусобицы, происходящей в любой либеральной стране<sup>15</sup>.

Преувеличивать влияние их спора на общественное сознание страны не следует. Разногласия интеллектуальной элиты еще не проникли в народ. В инженерно-технической и рабочей среде распространены в основном продуктивистские настроения, желание

14. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 468.

15. Двойное деление политических группировок по социальному и национальному признаку – не только русский феномен. Существует он и в других странах, в той же Франции, где имеются левые и либерально-консервативные «убежденные европейцы». И левые и правые националисты, ущемленные американским могуществом, то есть коммунисты и голлисты. В отличие от голлистов, коммунисты прячут свой комплекс в идеологический жаргон, в одежды «пролетарского интернационализма» и «антиимпериалистической борьбы». И те и другие – «друзья» Советского Союза и гордятся его достижениями, коммунисты – социальными, голлисты – имперскими.

Игра между четырьмя основными долями французского партийного яблока позволяет футурологу предугадать политический калейдоскоп и его комбинации в будущей России партий, что вряд ли приведет в восторг Солженицына, если, конечно, и он, и все мы доживем до этого дня.

высвободиться из удушающих объятий Плана и идеологической бюрократии, устранить все, что стоит на пути технологического прогресса и мешает России стать обществом потребления. Собственно политическое сознание, если вынести за скобки всеобщее недовольство системой и вождями, пребывает в эмбриональном состоянии (уверенность в несокрушимости системы и бесполезности борьбы с ней убивает надежду на его скорое развитие) и подчинено экономическому императиву. Но стремление к порядку как к противоположности бюрократического произвола, хаоса, коррупции, блата и воровства (уличная мудрость гласит: «У нас воруют все, кроме академика Сахарова»), а также недоверие к западным демократиям, легко идущим на уступки советскому правительству и неспособным дать отпор его непопулярному в стране внешнеполитическому курсу, — делают русского читателя весьма восприимчивым к консервативным акцентам Солженицына.

Его идеи, национальные, но без чрезмерности, соединяющие в себе беспощадную, революционную критику режима с авторитарной проповедью, находят сочувственный отклик во всех слоях населения, хотя и моральный максимализм писателя («виноваты все и замараны все»<sup>16</sup>) настораживает и сужает его отечественную аудиторию. Как бы то ни было, Солженицын больше, чем кто-либо другой, вправе считать себя выразителем самых широких чаяний.

16. Из-под глыб, стр. 127.

## 9. "ЛИНИЯ ДОБРА И ЗЛА"

Для западного человека тоталитаризм и авторитаризм — симметричные крайности, расположенные по правую и левую сторону привычного и допустимого порядка вещей. Для жителя Восточной Европы «мировая разделительная линия добра и зла» отделяет его собственную страну и весь социалистический лагерь от прочего цивилизованного мира. Вырвавшись за границу, он находит все элементы в подтверждение своего геополитического представления и среди них — отсутствие визуальной разницы между демократическими и авторитарными территориями.

И там и здесь граждане без затруднений и полицейской волокиты пересекают границы и возвращаются к себе, когда вздумается. И там и здесь беспечная и многоцветная городская сумятица контрастирует с постной миной социалистических городов. Рекламный фейерверк — с тоскливой абракадаброй лозунгов и заклятий. И там и здесь — афиши тех же кинофильмов. В магазинах не видно очередей. И на каждом шагу — фотокопировальные установки. Для тех, кто когда-нибудь переписывал, читал или держал в руках самиздатский подлинник и имел на этой почве крупные неприятности с государственной безопасностью, коллекционирующей шрифты всех имеющихся в стране печатных машинок, — это не просто удобство современного сервиса, но красноречивый признак иной, недоступной цивилизации. В испанском интервью Солженицына звучит ода этому Гутенбергу XX века.

От демократических авторитарные страны отличаются комедией выборов и драмой политических преследований. Но ведь не за чтение Бердяева или Маркса, а за терроризм. И легко вообразить, что за мысль точит голову диссидента. Меня изводит в Москве следователь — сын вчерашнего террориста. Там полиция обезвреживает террористов, завтрашних следователей ГБ. Здесь меня мучают от имени марксизма, там мне подобных и их детей избавляет от коммунистического далека свой брат христианин. Кому же

прикажете сочувствовать, даже если в отдельных случаях полиция проявляет ненужную жестокость?

Авторитарные режимы эволюционируют в демократические, и с такой последовательностью, что ни одного уж и не осталось в христианской Европе. Тоталитарные славятся железным здоровьем, свалить их могут лишь непредвиденные обстоятельства: военная катастрофа, интервенция, землетрясение.

Авторитарные режимы имеют в своем распоряжении демократическую смену, готовую в любой момент перенять эстафету власти. Мариу Соариш получил политическую формацию у себя на родине, а не в школе социал-демократических кадров где-нибудь в Швеции или Германии.

Тоталитарный режим не допускает не только оппозиции, но даже и фракций в своей собственной узкой головке. Его молодые начальники во всем копируют своих дряхлых предшественников и вздыхают по старым добрым временам, когда одно и то же не надо было повторять дважды. (А противники режима, добавим от себя, уповают на провиденциальный миропорядок.)

Неудивительно, что газетные сообщения об авторитарной действительности воспринимаются по-разному в Европе и России. Чтобы убедиться в этом воочию, восстановим реакцию советского читателя на интервью тайного руководителя чилийского сопротивления, появившееся в «Монде» и перепечатанное московской пресой:

«Защитники прав человека и политзаключенные действуют с открытым забралом. Это движение охватывает профессиональные, интеллектуальные круги, приходы и студенчество. Конкурсы песен, театральные фестивали, литературные объединения – все это представляет немалые возможности для мобилизации масс и помогает разорвать изоляцию, социальную атомизацию, на которую фашизм обрекает население...»<sup>1</sup> и т.д.

Наш читатель, споря с невидимым собеседником, по-своему комментирует его интервью. Конкурс песни и театра без предварительного прослушивания и просмотра? Хорошо живете. Разве это фашизм? – фашизма вы еще не нюхали. Хунта дискредитирует себя галопирующей инфляцией, и общественное мнение отворачивается от нее? Стало быть, не может ваша хунта наплевать на об-

1. «Монд» от 14 сентября 1976 г., стр. 7

ественное мнение, на социальную базу. Поэтому она и «усиливает репрессии и цензуру». Цензура, заметьте, колоссальный шаг вперед от монополии на масс медиа. И у вас, оказывается, «профсоюзы не были разрушены режимом» и они «выдвигают требования»... Вот вы «провели нелегально несколько месяцев в Чили». У нас бы вам не дали выйти с Шереметьевского аэропорта...

Измерить человечность режима, узнать, принадлежит ли он к цивилизованному миру, советскому человеку, как это ни странно, помогает марксизм. Не расставаясь с ним с детства, он машинально направляет его, будто экспонетр, на любые события и страны. Ситуация поддается марксистскому анализу — не все прогнило в датском королевстве; марксизм ломает о ситуацию зубы — дело происходит в тоталитарной стране. Всепобеждающему учению века необходим, как воздух для свечи, какой-то объем свободно циркулирующего кислорода, какой-то минимум свободных саморегулирующих процессов, какой-то зазор между обществом и государством. И придя к власти при помощи марксизма, левый тоталитаризм один за другим отменяет его законы на завоеванной территории.

Успех коммунистов — не в осуществлении баснословных промышленных достижений, а в том, что они добились такого равновесия, когда результаты этих достижений не колеблют стабильности режима. Десятый год длится с временными просветлениями неурожай в стране, бывшей когда-то житницей Европы. Любой школьник с усмешкой объяснит вам советский агрономический цикл: весной мы сеем, осенью собираем... пленумы, а урожай мы закупаем в Америке. Каждый год извлекаются выводы: смена министров, дополнительная посылка на поля студентов и научных работников, укрепление народного контроля. Но ни разу верхи не объяло сомнение в эффективности колхозно-совхозной системы, в компетентности Идеологии в аграрной области. Положительно, практика перестала быть при коммунизме критерием истины.

Если марксистский метод позволяет советскому интеллигенту в два счета вскрыть ситуацию в какой-нибудь Бразилии или Испании, скажем, объяснить состоявшийся там переход от диктатуры к демократии (авторитарный режим изживает себя, когда местная буржуазия, уже не опасаясь, что политические перемены поставят под вопрос характер собственности, начинает тяготиться тяжеловесной и неэффективной полицейско-бюрократической

опекой и желает иметь дело не с «вертикальными», а с представительными профсоюзами и т.д. и т.п.), то марксистский метод не имеет, поворачиваясь к Востоку.

Тщетно пытались бы мы раскрыть с его помощью, скажем, разницу между положением в Советском Союзе и в соседних братских странах. Постоянное брожение в этих странах говорит грамотному европейцу, что условия жизни в них хуже, чем в России (как же, империализм жиреет за счет колоний). Однако жители народных демократий знают, что (марксизму наперекор) они побогаче и свободнее своего могучего восточного брата. В чем же секрет? В пресловутом русском терпении, в прирожденном рабстве и чахлости гражданских традиций?

Традиций, конечно, после шестидесятилетнего вращения идеологического жернова меньше. Но причина не только в них. В социалистических гаулейтерствах скорая расправа затруднена скученностью населения, обеспечивающей быстрое распространение огня, и близостью лицемерящего «свободного мира».

В Советском же Союзе крупные населенные пункты отдалены друг от друга сотнями и тысячами километров. О подавлении восстаний в Новочеркасске («Архипелаг ГУЛаг», часть VII, гл. 3), Александрове, Темир-Тау, Днепродзержинске, Нижнем Тагиле, Муроме, вызванных примерно теми же причинами, что и народные волнения в соцстранах, долгое время не знали ни в самой России, ни за рубежом.

Длина русского бикфордова шнура позволяет уследить огонек в дороге, сбить и загасить его сапогами. Но это уже не марксистский анализ, мы входим в соображения генерала карательной дивизии...

Когда Франсис Коэн, редактор «Нувель Критик» (орган ФКП), сетует на преследования диссидентов в Советском Союзе и настойчиво оговаривается при этом, что их в стране — незначительное меньшинство, западный читатель, марксистски развивая его мысль, приходит к заключению, что большинство населения более или менее довольны властью, чем и объясняется ее устойчивость. Советский же читатель спрашивает себя, чего больше в утверждениях почтенного редактора, периодически навещающего в Москву, наивности или недобросовестности? Протестовать в стране, где государство — единственный работодатель, означает лишиться возможности зарабатывать на хлеб привычным вам способом и перейти на разгрузку мусорных ящиков в лучшем из слу-

чаев, отправиться в лагерь или психолечебницу – в худшем и наиболее вероятном.

Принадлежность к оппозиции в России – пожертвованная жизнь, профессиональное подвижничество. Подвиг же – удел избранных, подвиг – это маки́, а маки́ бывают переполнены, когда в воздухе носится надежда, когда слуха достигают залпы союзной артиллерии.

Численность русской оппозиции, получившей в прошлом десятилетии право на эфемерное существование, как и все в стране, подчинена Плану. Лишние оппозиционеры высылаются за границу, когда они известны за границей, и в лагерь, когда «заграница» о них не знает.

Академика Сахарова, отверженного от общества и затравленного милицией, должно было еще в Москве передергивать от мысли, что его статус, несмотря на все, – свидетельство либерализации режима, так же как тошно сделалось Солженицыну, когда до него дошло, что публикация «Ивана Денисовича» служит на Западе доказательством того, что лагерей или вообще уже нет, или они, по крайней мере, не те<sup>2</sup>.

А в конце 70-х годов Политбюро постановило покончить с диссидентами, и государственная безопасность резко сократила состав легальной оппозиции. Будем надеяться, что г-н Коэн не извлечет отсюда поспешных выводов. И захочет понять, что суть тоталитаризма выявляется не цифрой официально зарегистрированной оппозиции (откуда, между прочим, такая вера в статистику чужого государства, когда и статистике своего мы не доверяем?), а – в полном противоречии с марксистской и общечеловеческой логикой – подавляющей массой довольных. Поэтому-то в стране, где «за» собирает 99,3%, авторитарные референдумы, довольствующиеся 70% голосов в поддержку своих устроителей, не выглядят таким уж фарсом. Политические условия, при которых 20-30% населения (последний референдум в Чили) могли бы и осмелились сказать «нет», были бы для России целой революцией, верхом либерализма.

Права они или нет, но советским мятежникам авторитарные режимы представляются зоной свободы без берегов, когда они сравнивают их с родными берегами. Лагерники Солженицына в «Архипелаге» отвечали нервным смехом на сообщения советско-

2. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 512-513.



го радио о притеснениях в Греции и об условиях содержания там заключенных. Греческие ужасы, с болью сердца описанные проникновенным голосом знаменитого диктора, казались санаторным режимом в лагере Ивана Денисовича.

И положение с тех пор мало чем изменилось. В лагере Эдуарда Кузнецова «радостную весть об избавлении Луиса Корвалана»<sup>3</sup>, чилийского генсека, зона встретила такими репликами:

«Три года промучился – и уже в Москве икру жрет!»; «Эдак и всякий бы не прочь – три-то года вместо пятнадцати...»; «Читал? Люся-то Курвалан приемник имел! Жалуется, что посылки из СССР отдавали без этикеток, чтобы сбить с толку... Есть ли у них совесть вообще? Уж молчали бы о посылках-то! Какие посылки? Какие этикетки? Скорее бы лето – хоть одуванчиков наискать, а то зубы шатаются и кровь из десен...»; «Меняю здешнюю гуманность на чилийскую жестокость»<sup>4</sup>.

Даже от вооруженных стычек и выстрелов на авторитарной территории веет ветром свободы, роскошью открытой борьбы. В России, где неосторожное слово становится немедленно достоянием «кого нужно», сама мысль о вооруженной организации пахнет провокацией или безумием.

Несоразмерность насилия *там* и *здесь* настолько очевидна для русского человека, что настойчивые протесты по поводу репрессий в авторитарных странах он склонен объяснять патологическим инфантилизмом, лукавой конспирацией, отвлекающим маневром коммунистов. В выступлении по французскому телевидению Солженицын договаривается до того, что если бы Чили не было, Чили нужно было бы выдумать<sup>5</sup>.

И русский человек не находит в его словах ничего скандального. В Чили, скажет он, все же не загоняют людей на собрания, не заставляют его произносить с трибуны вздорные речи по райкомовской бумажке, аплодировать и вздымать руку. В Чили, может быть, и не особенно рекомендуется «очернять» в романах действительность, но стихи о соловье и розе не приравниваются к идеологической диверсии. В Чили – ребенка, донесшего на отца-кулака, не возводят в ранг национальных героев и не молятся на него в

3. Мордовский марафон, книготоварищество «Москва-Иерусалим», 1979, стр. 210.

4. Там же.

5. «Монд» от 11 марта 1976 г., стр. 2.

школах и детских садах. Чилийского крестьянина не заставляют из года в год выращивать кукурузу в невыносимых для этого климатических поясах. А рабочего не вынуждают удваивать под барабанный бой выпуск деталей, которые через несколько месяцев выйдут из строя в сельскохозяйственных двигателях в самый разгар борьбы за урожай.

В Чили граждане имеют право селиться, где им заблагорассудится. Наконец, чилийский крестьянин может плюнуть на все и укатить куда глаза глядят, подальше от своего фашизма, в то время как советскому крестьянину вплоть до недавнего времени запрещалось покидать свой колхоз, где он пух с голоду. На каждом советском человеке Солженицын читает несмыслимое тавро, которое ээки «Архипелага» осмеливались вытатуировать у себя на лбу: «Раб КПСС».

Еще лет пятнадцать назад русский человек верил, что стоит ему вольной птицей перемахнуть непроходимый тогда кордон, как он сумеет раскрыть глаза демократическому и отзывчивому Западу на зияющую пропасть между авторитарной тогда Грецией и Испанией и той частью света, которая одна имеет право называться тоталитарной. Он растолкует Западу, что главная опасность миру — коммунизм. Что помимо материального оскудения, голода и нищеты, прикрытых разговорами о скромном, но равном куске хлеба для всех, коммунизм несет гибель гражданскому сознанию, человеческому достоинству, гибель культуре, следующей за агонизирующей вспышкой советского авангардизма или китайских ста цветов.

Но самодовольный и сытый Запад вяло среагировал на донесенную в истерзанном клюве весть. Он пробурчал про разные исторические условия, про врожденную любовь к свободе французов и шведов, продолжая с сонным равнодушием созерцать полыхание у себя под носом красных флагов, действующих на русского как свастика, и на скопление советских танков у восточных границ...

Тогда ли пошатнулась его вера в демократию и проснулась склонность к более надежному и толковому порядку или же многим раньше — гадать не будем, но только он сник и решил про себя, что «опыт вообще непередаваем, все и всем надо пережить самим»<sup>6</sup>. Что никому, видимо, не избежать своей судьбы: детского

6. А. Солженицын, Выступление по английскому радио, *Вестник РХД*, № 117, стр. 147.

заболевания тоталитарной левизны. Что его еще позовут, когда нужно будет поднимать на ноги отходящих от тоталитарного удушья.

И лишь с одним не желает он примириться. С тем, что его страдания могут быть сопоставимы с чьими-либо другими. Что слезы его народа можно спустить в общий котлован вселенского горя. Что на его терновый веночек есть еще у кого-то права.

Поэтому так болезненно и воспринимает он кампании в адрес «чужих» заключенных. Откуда же это нарцисстическое тщеславие, этот эгоистический мазохизм, если правда, что страдание возвышает над обидами и несправедливым судом?

Он рассуждает примерно так. Пока мы тут мучались, жались в коммунальной квартире, вздрагивали от гудения ночного лифта и т.д., вы жили нормальной жизнью и думать забыли, как «мы помогли спасти свободу Западной Европы – дважды. И за это – дважды вы покинули нас в рабстве»<sup>7</sup>. Бросили в 17 году Ленину на съедение, откупились от Гитлера кровью двадцати миллионов русских солдат, продали Сталину на ялтинском толчке своего же родственника чеха, немца... И если «светлое зарево» минует вас, пройдет стороной, убоявшись ваших противопожарных средств и предполагаемой сноровки, то не потому ли, что стали умнее, отрезвились на нашем опыте?

И за спасительный урок вы платите черной неблагодарностью, оспариваете наше честное терновое первенство, говорите, что сами виноваты, что еще сто лет назад были рабами, умалчивая про привитую нам в лошадиной дозе вашу марксистскую сыворотку, от которой и пошла чума гулять по земле...

Так пеняйте же на себя! Всякий раз, когда взор ваш будет пылать негодованием по поводу репрессий в далекой Южной Америке, будем напоминать вам о брате Авеле, бить по затянутой жирком забвения совести – «подлинной линейкой»!

Не понять этого душевного настроения – много не понять в современной русской психологии, литературе, в поступках и жестах советского человека.

Мне вспоминается странное заявление зэка, в котором он обращается к мировой общественности и администрации лагеря с просьбой оказать ему содействие в передаче своего второго одеяла чилийскому заключенному. Жест солидарности, черный юмор?

7. Там же, стр. 142.

Из «Правды» он узнал, что заключенные Чили мерзнут без казенных одеял и им приходится укрываться принесенными из дому вещами. Советским же энкам строжайше запрещено держать при себе домашние вещи. И с приближением холодов специальная комиссия во главе с врачом (его клятва Гиппократ: сначала я коммунист, потом врач) все равно изымет вторые одеяла, так что не лучше ли пожертвовать их в Чили? Своим заявлением он заставляет задуматься разъяренную лагерную администрацию и сердобольную мировую общественность, что предпочтительней: неустройство чилийского Гулага или налаженный административный садизм советского?

Не понять этого душевного настроя – навязчивым может показаться и постоянное мелькание «подлинной линейки» в произведениях самого Солженицына:

«И фотографий почти не оставила наша ссылка: если были фотографии, то снимали только на документы – для *кадров* и спецчастей. Группе ссылных – да вместе сфотографироваться, это – что, это как? Это – сразу донос в ГБ: вот, мол, наша подпольная антисоветская организация. По снимку всех и *возьмут*.

Не оставила наша ссылка фотографий – тех, знаете, групповых и довольно веселых: третий слева Ульянов, справа второй Кржижановский. Все сыты, все одеты чисто, не знают труда и нужды, если борода – то холена, если шапка – то доброго меха.

Очень тогда были, дети, мрачные времена...<sup>8</sup>

В «Августе» и «Ленине в Цюрихе», где присутствие автора не должно быть назойливым, прямые сопоставления, вроде только что приведенного из «Архипелага», двойные показания солженицынской «линейки» были бы неуместны. Но в этом и нет необходимости для русского читателя. За всеми «невероятными» трудностями и препятствиями, переполняющими биографию великого революционера, ему отчетливо слышится иронический вздох автора:

«Очень тогда были, дети, мрачные времена...»

Неутолимая потребность сравнения двух миров, социалистического и авторитарного, – одна из пружин,двигающих сложный ход

8. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 402.

эпопеи. Наружная невозмутимость и нейтральность эпического тона не обманывает отечественного читателя. Повествование для него насквозь полемично. «Линейка» без устали бьет по живому месту, но чувствителен ли западный читатель к ее ударам? Думаю, что не всегда.

Но даже если бы они и достигали сознания, все равно бы автору не переставало казаться, что нечто главное пропадает в его рассказе. Что ощущение смирительной рубашки, эту ежедневную и омерзительную *нормализацию* души, эту «муть к горлу подступающую»<sup>9</sup> не передать тем, кто не побывал в *нашей* школе.

Вот и приходится, отрываясь от работы над дорогими узлами, греметь о нарушении прав человека, хотя не существует никаких человеческих прав, апеллировать к Западу выпуклыми, задевающими его воображение понятиями, как-то: тюрьма, психушка, часовые, шмон, вышка, — сужая волей-неволей необозримую природу тоталитаризма, выравнивая несравнимые виды насилия: авторитарно-полицейского, царящего в политической сфере, и всеобщего, разлитого на все сферы бытия и закупоривающего мельчайшие поры жизни.

Эта неизъяснимость, невыразимость экзистенциального опыта и есть причина трагического одиночества, на которое XX век обрек русский народ и его писателей. Она — постоянный резервуар солженицынской желчи. В непонимающем и безразличном мире тяжелее нести крест и нестерпимее жжет терновник несправедливости.

У Фазиля Искандера, прекрасного поэта и прозаика, чьи словечки повторяет вся Москва, есть рассказ, в котором пенсионер наблюдает за туристами из Западной Германии, распивающими шампанское в приморском ресторане. Старик смотрит на них и бросает:

«Мы победили, а они гуляют».

Солженицына бесит и то, что «они гуляют», пока мы страдали, страдаем и будем страдать за них и из-за них, и то, что *им* невозможно ничего втолковать. К досаде на себя примешивается раздражение своим новым читателем, еще недавно воспринимавшимся естественным союзником и другом:

9. Там же, стр. 36.

«О, свободолюбивые "левые" мыслители Запада! О, левые лейбористы! О, передовые американские, германские, французские студенты! Для вас – этого мало всего. Для вас – и вся моя книга сойдет за ничто. Только тогда вы сразу все поймете, когда "р-руки назад!" потопаете с а м и на наш Архипелаг»<sup>10</sup>.

Заставляя такого «левого лейбориста» поставить подпись под очередным протестом, русский человек за рубежом не может не понимать, что сбывает тому по сходной цене нечто похожее на индульгенцию. При этом он еще рискует натолкнуться на унижительный отказ: ведь его покупатель, чья мучеников обеих религий, приобретает индульгенции у ворот и того и другого храма и зорко следит за тем, чтобы не случилось платежного перекоса, предосудительного для его прогрессивной репутации...

Гнев Солженицына, прорывающийся в язвительных и иногда неясных Западу заявлениях, вроде перефразированного Вольтера о необходимости Чили, и вызван этим тщательно сбалансированным международным возмущением, тягостной зависимостью от кругов и лиц, с чьим мнением считаются *вожди* и кому он сам, вместе со многими своими товарищами, обязан вызволением.

Все это осложняется еще и тем, что в глубине души Солженицын, конечно же, осознает обязательность любых протестов, когда речь заходит о полицейских дубинках и пытках. К тому же, у него нет оснований подозревать всех протестующих в лицемерии. Да и почему должны радовать левых притеснения в Аргентине? Как не радуется даже коммунистов, а поди, и мешает им то, что творится в социалистическом блоке.

Разумеется, выступления коммунистов против зверств чилийской военщины будут до тех пор отдавать ложным пафосом и сверкать крокодиловыми слезами, пока на другом конце земного шара преследуют людей от имени их идеологии.

Но и заявления самого Солженицына не лишены двусмысленности. И пока в них проскальзывает слабость к сильным режимам, его слушателям будет казаться, что писатель поднимается не против тирании вообще, а против ее частного случая. Расчеты на «особые пути» русского или другого морального авторитаризма столь же уязвимы, что и обещания особого, очищенного, национально-демократического коммунизма.

Обе веры обвиняют одна другую в умышленной или объектив-

10. Там же, стр. 568.

ной солидарности с палачами, в употреблении чужой крови для идеологического ритуала. И разорвать эту цепь взаимных укоров, которой они, в сущности, прикованы друг к другу, — не так-то легко. Коммунистам свободных стран понадобилось бы *признать своих* среди жертв концентрационного мира и специализироваться на защите советских, чешских, вьетнамских заключенных. Солженицыну — найти в своем сердце место для чилийских и аргентинских эзков и не оставлять ни минуты покоя их мучителям.

Игра стоит свеч. Атмосфера очистилась бы от экивоков и подозрительности. Заглохла бы торговля индульгенциями. И заинтересованные стороны, спустившись с неба на землю и сосредоточившись на «побочных эффектах» собственных, а не соседских доктрин и пророчеств, существенно бы продвинулись в поисках философского камня, обращающего идеологии в чистое золото Морали.

## 10. МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ

Жалобы Солженицына на одиночество и слабое эхо на Западе несколько устарели. Голос писателя – уже не глас вопиющий в пустыне. Солженицын разбудил во Франции плеяду *новых философов*. Услышав его клич, они бросились в потасовку, не снимая марксистских доспехов. И в ходе сражения обнаружили лицо общего врага – Всепобеждающее Учение Века.

Клич Солженицына вызвал обвал, и он грозит засыпать русло, по которому столетие отводилась борьба с угнетением, привилегиями, иерархией, отчуждением. Русло, в свою очередь, отчуждавшее и умирившее все виды освободительного движения.

Солженицын был бы взволнован, прочитай он хотя бы такой пассаж из книги А. Глюксмана:

«... не благодаря своему особому гению, а времени, коим оно располагает и пространству, которое оно занимает, Советское государство заслужило пальму первенства в истреблении числа людей, во много раз превышающего жертвы нацистских лагерей. Когда мы именуем это государство социалистическим, а его историю революционной, что делает нас глухими к откровенному хохоту будущих поколений над нашими теоретическими дебатами? Что делает нас слепыми к слезам и крови, которыми сочится наша эпоха?»<sup>1</sup>.

Слова Глюксмана – бальзам на душевные раны писателя. Но они возымели бы еще большее целительное действие, прими их Солженицын на свой счет. Русскому диссидентству не хватает своего Глюксмана, чтобы задать себе аналогичный вопрос.

Когда мы говорим об отвлекающем маневре, как только раздаются протесты, направленные по «чужому адресу», что же оправдывает наше собственное «безразличие к страданиям и несчастью других»<sup>2</sup>, в чем, по мнению Солженицына, повинен лишь Запад?

1. *La Cuisinière et le Mangeur d'hommes*, op. cit., p. 33.

2. *Континент*, № 11, Специальное приложение, стр. 21.



«В современном мире никакого другого тоталитаризма нет, — не устает повторять Солженицын. — Он существует в Советском Союзе, в Китае, во Вьетнаме, в Камбодже, во всей Восточной Европе»<sup>3</sup>.

Но наши теоретические дебаты о том, что считать тоталитаризмом, а что всего лишь авторитаризмом, столь же неуместны и достойны гомерического хохота грядущих поколений, когда рядом течет кровь и слышатся крики из подполья, где практикуются следующие виды пыток: «пикана (электричеством), изнасилование, разможнение половых органов, вивисекция без анестезии, ампутация электрической пилой, прижигание сигаретой, паяльной лампой, срывание ногтей и кожи лица...»<sup>4</sup> и т.д.

Что же превращает нас в глухих и слепых? Недостаток информации, чтение исключительно эмигрантской прессы? Шапочное знакомство с чужой действительностью, поспешная туристическая благожелательность, в которой мы обвиняли прогрессивных доброхотов, посещающих нашу страну?

Солженицын побывал в Испании в переходный период, после смерти Франко. Ему понравилась эта страна, где много лет назад «победило мировоззрение христианское»<sup>5</sup>. И он нашел испанцев *не такими*, то есть не похожими на жителей тоталитарной страны.

Но вот как описывает свое самочувствие при Франко и после сам испанец, писатель Хуан Гойтисоло:

«Необъятный энергетический потенциал, не имея возможности растекаться по обычным каналам творчества и созидания, неизбежно обращался в неврозы, сварливую озлобленность, самоубийственные импульсы, в замкнутый домашний ад. Испанской психиатрии нужно еще будет серьезно проанализировать последствия злокачественной опеки над массами взрослых людей, принужденных мириться с изувеченным представлением о самих себе, усвоить привычки пришибленного, инфантильного или подавленного виной существа.

Репрессии, табу, приниженная покорность, принятие без раздумий официальных, насаждаемых ценностей — обуславливают наше сегодняшнее поведение, и все это не исчезнет в один день. Народ,

3. Там же, стр. 26.

4. Материалы, собранные аргентинскими журналистами и опубликованные в журнале «Нувель Обсерватер», № 691, 6 февраля 1978 г., стр. 33.

5. *Континент*, № 8, стр. 431.

проживший в течение почти что сорока лет в атмосфере безответственности и бессилия, – народ неизбежно больной, и его выздоровление займет тем больше времени, чем дольше длилось заболевание»<sup>6</sup>.

Солженицыну приходилось сталкиваться с подобными симптомами. Их нельзя придумать. Их ощущают в себе. Мы встречаем их в критике русского общества буквально на каждой странице солженицынских произведений. Конечно, интенсивность и продолжительность заболевания в обоих случаях разные, но идентичность клинических признаков убеждает в идентичности самой болезни.

Как же получилось, что доктор человеческих душ Солженицын проморгал испанский недуг?

Уже хорошо изучены механизмы западной прогрессивной слепоты и глухоты, и накопленный здесь опыт сможет объяснить кое-что и в ментальной логике многих русских диссидентов.

Один из этих механизмов заключается в марксистской абсолютизации экономического фактора, в отчуждении его от реальности. Великая удача России, рассуждают коммунисты, – обобществление средств производства, изъятие частной собственности у капиталистов. В России много напортачили, Ленин совершил «трагическую ошибку»<sup>7</sup>, но ценой невероятных усилий и крови, в тяжелейших исторических условиях был построен экономический социализм. Жаль безвинно загубленных, но чтобы жертвы не были напрасными, нужно продолжать начатое дело. И вслед за экономическим возводить демократический социализм.

И это звучит весьма серьезно. В свое время даже Бердяев допускал, что коммунизм при всей своей жестокости и презрении к человеку, по крайней мере, подкован в экономике. Что он доведет до конца предприятие, начатое еще императором Петром, тоже не отличавшимся ангельским нравом, и сумеет цивилизовать, привить вкус к работе мечтательному, разляпистому народу. А затем наступит и черед либерализации...

Оказалось, что рабский труд непроизводителен. Что хлеб и свободу не удается выдавать поэтапно.

Но реальность, от которой, казалось бы, невозможно отмах-

6. «Нувель Обсерватер», № 579, 15 декабря 1975 г., стр. 47.

7. Слова в кавычках – подзаголовок из статьи Ж. Элленштейна, появившейся в «Монде» от 4 февраля 1978 г., стр. 2.

нуться, на практике легко вытесняется из сознания или теряет свое аффективно-оценочное значение, сталкиваясь с бульдозерной логикой Идеологии. И я спрашиваю себя, не тот ли защитный механизм вложен в демарш самого Солженицына?

Не абсолютизирует ли он обратный экономический фактор: отсутствие в авторитарных странах государственной монополии на промышленность, их верность либеральной экономике? Не изжитый марксист, сидящий в каждом из нас, не переориентировал ли наше сознание и не подменил ли один фетиш на другой?

Пойдем дальше. Левые чувствительны к социалистическому сленгу советских руководителей, не имеющему для них того же рокового смысла, что и для нас, бывших коммунистов и комсомольцев. И Советский Союз, хотя и не вызывает уже приливов безоговорочного обожания, все же остается в их понимании опорой революционных движений и народных войн против американского империализма.

Не так ли и нас усыпляет христианский жаргон полковников и генералов, провозгласивших себя форпостом цивилизации и борющихся на свой лад с угрозой коммунистического порабощения? И посему предпочитаем не замечать их конкретных шагов и не придавать значения их расширительному толкованию терроризма: «Террористы — все, кто распространяет идеи, противные западной и христианской цивилизации»<sup>8</sup>. Мы не слышим криков, происходящих от реализации этой установки, как не слышно было криков и выстрелов, связанных с расширительным толкованием классовой борьбы у нас на родине.

Отсутствие государственной монополии у генералов и присутствие их в храме нас так обнадеживает, что мы даже знать не хотим, что в храм они ходят еще и для того, чтобы отслужить мессу по Гитлеру, как не хотят знать еврокоммунисты, что Суслов служил в их храме мессу по Сталину и Жданову.

Те же защитные механизмы, те же дефекты слуха и зрения. Ничего принципиально нового в этом нет. Сколько уж раз отмечалась схожесть психологических основ, скажем, религиозного фанатизма и воинствующего атеизма. На близость красной и черной сотни указывает сам Солженицын в «Августе». Наверное, есть и

8. Определение генерала Виделы. «Нувель Обсерватер», № 691, 6 февраля 1978 г., стр. 34.

немало общего между честными и благонамеренными учениками всех на свете чародеев.

О, структуральное тождество симметричных антагонизмов! О, закон таинственной соотнесенности враждебных, но незримо общающихся сосудов! Что бы мы делали без него? Как бы меняли свои взгляды на противоположные, оставаясь до конца верными себе?

Солженицын раскрывает Западу глаза на связь между розовым вином гуманного социализма, либерально-политическим хмелем и левототалитарным запоем. Но видную левым связь между консерватизмом, авторитарным унтер-пришибейством и белой горячкой фашизма не улавливает уже он.

«Истребительно-жадный прогресс» порождает, по Солженицыну, коммунизм. Наблюдение верное. Но ведь пик прогресса имеет и другой склон – фашистский. И эта могильная пирамида держится на плоскости либеральной экономики. Стоит ли принимать ее за девственницу и чтить как деву Марию? Она, как ни оглянешься, флиртует с дьяволом. И за нею нужен глаз да глаз! Ее чрево с одинаковым усердием вынашивает монстров обоего пола.

Русский человек не ведает, что либеральная экономика все меньше и меньше напоминает либеральную. Изобилие западных прилавков прячет от него отвратительную тенденцию. Он думает, что это марксистский блеф. Справляет же каждый год советская пропаганда поминки по капитализму, а он стоит себе и наливаются жиром.

Либеральная экономика для нас, марксистов наоборот, – надежная гарантия от коммунизма. Но что гарантирует от коммунизма саму либеральную экономику, если правы *новые философы*, что социализм – последний козырь самопожирающего технократического капитализма?

Спасти либеральную экономику при помощи либеральной экономики становится непостижимой задачей, китайской головоломкой. Несчастный барон Мюнхгаузен, который раз приходится ему вытаскивать себя самого за волосы из болота!

Жан Даниэль заблуждается, называя идеи Солженицына «средневековой и славянской утопией»<sup>9</sup>. В них нет ничего специфически славянского. И средневековье это новое, современное. Стара

9. «Нувель Обсерватер», № 592, 15 марта 1976.

лишь сама утопия. Мир не ждал Солженицына, чтобы проводить «моральную политику». Не ждет он писателя и с его «новыми», патентованными средствами от коммунизма. Кадры латино-американских хунт издавна обучаются противокommунистическим акциям и чувству государственной ответственности в военных колледжах США. Синдром Солженицына давно усвоен либеральными экономистами и специалистами по геопологическому маркетингу.

На помощь Мюнхгаузену срочно высылаются проворные, натасканные саперы, и они, вытащив бедного из болота, прочно усаживают ему на загривок. Их мало заботит толерантность и законность, которыми американские и европейские либералы дорожат у себя на родине, в черте своих афинских демократий, не меньше, а то и больше Солженицына. Либеральные протекторы журят полковников и денщиков, произведенных собственноручно в генералы и императоры, совсем как Берлингуэр журит Брежнева, но и те и другие вынуждены мириться с «побочными эффектами» родственных диктатур, дабы остановить распространение коммунизма и советского империализма (вариант *a*); дабы отстоять завоевания социализма (вариант *b*). *Либеральная* или пролетарская (кому какая) диктатура обретает фашистский оскал, непредусмотренный изначальным проектом.

И теперь его не желают замечать проектировщики, болельщики, единовверцы, кредиторы, торговцы иллюзиями и ракетами, любители дешевой рабочей силы и независимых от нее «вертикальных» покладистых профсоюзов, искатели полезных ископаемых и мест для радиоактивных свалок. Сами не замечают и нам не советуют. Иначе это будет расценено как контакт с КГБ, ЦРУ (ненужное зачеркнуть), и позванивающие у нас за пазухой тридцать сребреников привлекут внимание всех людей доброй воли: христиан-интегрисов, участников движения за мир и социализм, швейцарских банкиров, южноамериканских революционных марксистов, российских эмигрантов...

*«Что вы, собственно, кипятитесь? – слышу я голос раздосадованного соотечественника. – Мы демократы, мы против своеволия, но мы за свободу везде и всюду. Диктатура – крайняя мера, рассчитанная на короткий переходный период от коммунизма к нормальной жизни. Авторитаризм как историческая неизбежность и осознанная необходимость? Ну, знаете ли, Солженицын тут перебарщивает. И далеко не все согласны с ним. Во всяком случае,*

нам не понадобятся денщики и полковники, прошедшие подготовку в Вашингтоне, Сен-Сире<sup>10</sup> или военно-политической академии им. Фрунзе. Мы культурные люди и слишком страдали сами. У нас не будет никакого оскала. Наши лицевые мускулы натренированы в приветливо-либеральном и вдумчиво-волевом выражении, а взгляд одухотворен христианской моралью.

*И потом, вы что, не верите в одинаковую и лютую ненависть Солженицына к любому тоталитаризму?»*

Я-то в ней абсолютно уверен. Для меня это даже не предмет обсуждения, это, если хотите, вопрос чести. И с теми, кто не верит, готов выйти на дуэльную поляну. Сомневаться в ненависти Солженицына к правому тоталитаризму может, по-моему, лишь тот, кто, расписывая нам райские кущи и бьющую фонтаном демократию при социализме, видит мысленно колючую проволоку и лагерные вышки. Моя цель — распознать опорные пункты солженицынской психологии, понять, что мешает ему и иже с ним признать в явлениях фашизма фашизм, и, по возможности, демистифицировать некоторые дорогие нам фетиши, например, либеральную экономику.

Вспомним, что фашистская Германия (ключи от которой Гитлеру поднесли консервативные националисты, уставшие от анархии и коммунистической угрозы, что не перестает быть фактом из-за того, что используется советской пропагандой) тоже не собиралась или не успела наложить лапы на экономику. И тем не менее для Солженицына сталинизм и гитлеризм — родственные души. И он без особого удивления рассказывает в «Архипелаге», что придя в Россию, немцы постарались сохранить стихийно распавшиеся было колхозы, вызвав тем самым (не только *тем самым*, но *тем самым* тоже) партизанскую войну.

Пути истории неисповедимы. Пойдешь направо, как любил говорить Ильич, придешь направо. И наоборот.

Чтобы избежать мрачных прогнозов и висельной иронии истории (единственный марксистский закон, который писатель охотно принимает), нужно взять ее в свои руки, к чему Солженицын неоднократно и призывает. К сожалению, законы творчества и политического мышления не обязывают писателей следовать своим же платоническим призывам. Препоручать власть кому бы то ни

10. Военная школа под Парижем.

было: Идеологии, христианским генералам, синоду оккультных старцев или же мурдому, справедливому и неизменному порядку вещей, автоматически и ревностно регулирующему свою сохранность и незыблемость, — значит потерять контроль над ситуацией и быть готовым ко всяким превратностям отдельной и национальной судьбы. Идеологии разрушения и неподвижности сходятся в мертвой точке.

## 11. СОВЕТСКИЙ ЭДИП

Традиционная литературная критика, ныряя в заманчивые глубины психоанализа, нередко оказывается на мели общедоступных истин, расшибает лоб об их искусственное, панельное дно. Но как устоять перед его зыбкими глубинами, когда расследование топчется на месте и его основная загвоздка: склонность гомо советикус к авторитарной психологии — не находит внятного ответа. Рассмотренные нами защитные механизмы и система обороны авторитарных позиций от враждебного полчища реалий и логических аргументов не проясняют самой потребности в авторитарном постулате.

В своей книге «Заклание Царевича» Ален Безансон связывает особенности русской психики в ее культурно-религиозном, политическом и духовном планах с неразрешенностью у русского человека Эдипова комплекса, неспособностью превзойти Отца и добиться своей автономии:

«Гоголь, Достоевский, Розанов, Блок (...) развивают идеологию смирения и жертвенности (...). Они (...) переживают в слезах и трансе этот раскаленный момент человеческого существования. Отважно приближаются к Эдипу, но не с тем, чтобы преодолеть его, а с тем, чтобы смаковать и упиваться страданием...»<sup>1</sup>

Тогда как для западного христианина Голгофа — символ освобождения, для восточного, считает критик, — встреча с Отцом завершается, как правило, духовным и физическим крахом сына. Признание отцовского авторитета, покорность и растворение в отцовском сиянии — катарсис его тернистого и мучительного пути.

Мысль Безансона, несмотря на своеобычность и остроту, может по здоровом размышлении показаться психоаналитическим перепе-

1. A. Besançon, *Le Tsarevitch immolé* (Заклание царевича), Plon, Paris, 1967, p. 240.



вом западнических упреков. И как всякий узкоконцептуальный подход не выдержит очной ставки со всею совокупностью литературных и экзистенциальных фактов.

Вот что думает по этому поводу Соль Фридландер:

«Из анализа того же Безансона явствует, что творчество Достоевского, самого русского из русских писателей, меньше всего располагает к манере прочтения, подсказанной критиком. Если в Преступлении и наказании отношения между следователем и Раскольниковым еще как-то напоминают структурную модель, предложенную в "Заклании Царевича", то как же не заметить, что в "Подростке" сын идет на прямое столкновение с отцом, топчет его в "Бесах" и убивает в "Братьях Карамазовых"? Ни в одном романе Достоевского нам не сыскать отцовского персонажа, который бы не был распутным, блеклым или просто сведенным на нет лицом. Ничто в них не вяжется с фигурой Вседержителя, грозного недоступного Царя, умертвляющего сына на жертвенном алтаре, мужика с топором. Ничто не поддается однозначному толкованию в этом духе.

Такие же возражения напрашиваются и в политической области»<sup>2</sup>.

Короче говоря, три революции за 12 лет, затяжная гражданская война, низвержение патриархального строя серьезно колеблют во мнении Фридландера схему Безансона.

Но нам не привыкать к тому, что действительность не умещается в теории. Лишь бы теория умещалась в жизни, осветив хотя бы один из ее темных закоулков. И теорию Безансона я бы не спешил отправлять в музей интеллектуальных курьезов. Она сослужит нам еще немалую службу, если мы ограничим ее рамками новейшего времени, из которых она безусловно и выпала, и сконцентрируем ее доводы на более четком социально-политическом пространстве.

Свержение монархии имеет стандартной психической подоплекой убийство отца. Новшеством русского опыта является то, что стране не понадобилось десяти лет, чтобы сотворить своего Наполеона. Воцарение Ленина началось сразу же за выстрелами «Авроры». Царь был отцом недостойным, негодным, утерявшим естественный авторитет, фактическую и харизматическую власть неумелым ведением войны, провалившимся с треском на этом важнейшем экзамене отцовства. Отец оказался голым, и Хам убил его,

2. S. Friedländer, *Histoire et psychanalyse* (История и психоанализ), Ed. du Seuil, Paris, 1975, pp. 207-208.

но не как отца настоящего, а как отца фальшивого, поддельного, ибо тут же признал в Ленине отца действительного.

Поиск отца закамуфлирован в русской истории под отцеубийство, что мешает увидеть рациональное (или иррациональное?) зерно у Безансона, не верящего в полноту сыновнего восстания.

Изгнание Лжеотца и неустанные поиски отца Истинного, его реального, а не фиктивного могущества – подводная часть айсберга советской истории, подспудный мотив пробуждения и роста общественного сознания в советской России.

Доклад Хрущева на XX съезде партии был сигналом к борьбе за настоящего, подлинного Ленина, которого «подменил», извратил Сталин, незаконно присвоивший отцовский трон и священные скрижали идеологии.

А когда через десяток лет стало ясно, что у ленинской династии нет будущего в стране, что за полвека она не создала и уже не создаст разумного и морально обоснованного уклада, органической и признанной большинством социальной дифференциации, необходимой для духовного и материального благополучия всей национальной семьи, когда стало окончательно ясно, что ленинизм не утвердит и не признает своего собственного закона, а всегда будет опираться на беззаконие, на идеологический, административный, полицейский и психиатрический произвол, – тогда и был похоронен Ленин в коллективном сыновнем сердце.

И бунт против Ленина, против коммунистической беспочвенности вылился в страстную тягу к тысячелетнему историческому строю, к вечной Руси, привел в движение центральный и окраинные национализмы, породил тоску по справедливому и неизменному дедовскому обычаю, убежденность, что вековые память и ум отцовского рода, даже и «при глупых головах», как высказался Солженицын в «Августе» (108) о царских начальниках и генералах, мудрее, полезнее и надежнее сумбурного и кровавого знания блудного сына, его смердяковской интернациональной софистики.

Тоталитарную власть подсознание стало воспринимать деспотической, коварной, преступной матерью, обagrившей руки в крови отца. Она заменила его поначалу шустрым картавым святошей с нехорошей болезнью, потом балаганным злодеем-параноиком и теперь обходится откровенными ничтожествами. Клоунские выходы пьяного Хрущева, бездарно-пышные юбилеи его преемника, нашего литературного маршала, работают на внутреннее восприятие лжеотцовства.

Женская сущность коммунизма вряд ли может почитаться глубоко русским явлением, но в русском языке она легче опознается, благодаря грамматическому женскому роду *партии* и *родины* — ритуальных обозначений матери. Слов, следующих на идеологической «фене» в семантической тавтологической близости.

Преобладание женского начала в родительской символике власти отличает бюрократический тоталитаризм от режимов с мужской доминантой. Советские руководители не имеют и не имели ничего общего с крупными особями европейского вождизма (Гитлер, Муссолини).

Троцкий — блестящий ум, вулканический организатор и оратор, не уступавший Гитлеру, этот латентный Бонапарт не сумел одолеть мутного и муторного Сталина, хотя общественный миф ставил Льва Давыдовича выше Владимира Ильича. Теперь это забылось, но мы освежим память интересным литературным свидетельством. Рассказом времен гражданской войны «Короли у себя дома». Автор его, А. Аверченко, изобразил Ленина с Троцким в виде супружеской четы, проживающей в Кремле:

«Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, с сигарой (...). Ленин — madame (...), затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка, (...) на ногах красные чулки от ревматизма»<sup>3</sup>.

Троцкий отчитывает «супругу»:

«Муж и войой, и страну организуй, и то и се, а жена только по диванам валяется да глупейшего Карла Маркса читает? Эти романчики пора уже оставить...»<sup>4</sup>

Занимая такое огромное и выгодное место в общественном воображении, Троцкий тем не менее удосужился проиграть Сталину. Причины его фиаско добросовестно изучены историками. Троцкий, как известно, не мыслил себе пути «без партии, помимо партии, в обход партии»<sup>5</sup>. «Права или нет, — говорил он с трибуны XIII съезда, — это моя партия», перефразируя английскую формулу: *right or wrong, my country*.

Мотивация Троцкого действительна и для Бухарина, подбрасывающего поленья в собственный костер, активно сотрудничав-

3, 4. Дюжина ножей в спину революции (Сборник рассказов), «Бумеранг», Иерусалим, 1975 (перепечатано с издания 1921 г.).

5. Л. Троцкий, Уроки Октября, Соч., т. 3, М., 1924, часть I, стр. XL.

шего с устроителями своего процесса. Но Троцкий – не Бухарин. Как же было не попробовать ему окружить с помощью многочисленных сторонников здание ЦК и вывести Сталина через черный ход и в расход? Революционная совесть не должна бы чинить Троцкому чрезмерных препятствий. Остановить термидор и *буржуазное перерождение* – долг революционера.

Имелись, очевидно, другие препоны, скрытые от марксистской и классической истории. Троцкий был революционером до мозга костей и, стало быть, до такой степени антиотцовствующим элементом, что не мог прибегнуть к бонапартистскому решению. Троцкий не смел переступить в себе сына, навязаться партии, *right or wrong*. Он был пленником материнской стихии социалистической революции. Партия, даже и *перерожденная*, оставалась для него матерью.

А мать не выносила латентных Бонапартов, она предпочла ему медлительного и косноязычного бюрократа, как до этого – женоподобного Ленина. Ленин был воплощением отрицательной идеи, противоположностью персонализированной власти отца, утомившей страну своей фальшивой, несостоятельной импозантностью. Ленин – единственный из вождей, кого она не вышвырнула из семейного альбома.

Феминизм ленинского облика, недостаток героической яркости и отцовской строгости не позволили ему укрепиться в общественном подсознании в качестве отца-зачинателя и помогли впоследствии Сталину оттеснить Ленина на второй план, выставить несерьезным, придурковато улыбающимся интеллигентшишкой, подающим реплики и советы настоящему хозяину положения.

Женственность Ильича подхвачена солженицынским «Лениным в Цюрихе». Ленин пассивен и уступчив в своих отношениях с Парвусом. Правда, он отталкивает его, но «нарочно», желая лишь крепче приворожить к себе. В своих *фантазмах* Ленин отдается бегемотоподобному Парвусу, становится любовницей еврейского банкира и немецкого эмиссара, чтобы от его денежной манной, от его дьявольской спермы понести плод революции... Генеалогическое древо советской власти уходит корнями в массовое подсознание. Книга подкапывается под один из корней, и продолжение эпопеи, кажется, обещает открыть нам их общие подземные контуры.

А пока что обратимся к тому, кого идеологическая речь прямо величала отцом советских людей и народов. Изучая его родитель-

ские права, мы убедимся, что и сталинский авторитет – не без изъяна. Правда, что Сталин активно и сладострастно добивался власти. Однако еще вернее то, что власть сама нашла его и увлекла на пустующий трон и ложе. Поэтому Сталин и вознамерился унижить и уничтожить партию. И партия сполна воздала ему после его смерти (историки теперь все дружнее сомневаются, что она была естественной). Сталин был сброшен с пьедестала и безжалостно высмеян. Ему инкриминировалась мания величия, военные поражения 41 года и восточное происхождение деспота-самозванца. Сталин – развенчанное карнавальное чудовище. И ему не занять вакансии родоначальника. Партия перестаралась в свое время, и все попытки реставрации мрачного сталинского обаяния обречены на провал.

И все-таки Сталин – единственный случай мужского пребывания в родительском доме. Он был инструментом матери, семейным палачом, злым отчимом, которого она науськивала на своих еще не вполне покорных детей. Сталин поверг их в оцепенение и летаргическое послушание. Но он пытался пойти дальше и нарушить соотношение мужского и женского начала в психологических основах власти, трансформировать ее матриархат в патриархат. Солженицын прекрасно улавливает затаенный смысл сталинских претензий, заставляя вождя в «Круге первом» грезить о короне пролетарского императора.

Этого-то и не могла простить ему партия. И урок пошел ей на пользу. Она удалила из своего окружения всех природных отцов и продолжает спихивать всяческих берий, шелестов и «железных шуриков»<sup>6</sup> со ступеней, ведущих на верхнюю трибуну мавзолея.

И в последних вождях уже настолько мало персональных, личностных, самостоятельных черт, их речи настолько неотличимы друг от друга (словно это одна и та же бесконечная лента, выбегающая из электронно-идеологического робота), что кажутся вожди уже частью материнской особи, мужскими, отцовскими масками, надеваемыми ею по поводу банкетов, заграничных выездов и дежурств на мавзолее во время парадов и демонстраций.

Временщики появляются и исчезают, не оставляя по себе ни сожаления, ни сочувствия, подвергаясь на выходе обязательному ритуальному осмеянию и коллективному оплевыванию. Их имена

6. Железным Шуриком молва нарекла А. Шелепина, бывшего министра КГБ, по аналогии с Железным Феликсом (Дзержинским).

исчезают из книг, кинофильмов, наименований улиц и стадионов.

Лишь мать остается. Лишь одна она значит все в судьбе советского человека. Она вскормила его идеологическим молоком, отведала его крови, растлила и испохабила душу.

Если с меняющимися отцами-отчимами-дядьками еще можно попробовать договориться, даже написать им открытое письмо, то с преступной матерью — коротки разговоры. Слишком велики к ней гадливость, ненависть, презрение.

«Россия-Мать, Россия-Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором, — дитя!..»<sup>7</sup> — проклял ее Абрам Терц из изгнания.

Кровоточащие слова Синявского покоробили многих в русской эмиграции, хотя, если разобраться, Синявский клеймит не национальную мать, а тоталитарную, не имеющую своего лица и паразитирующую на чужих изображениях. Эту ее особенность и подметил Солженицын, говоря, что «на всей планете и во всей истории не было режима более злого, кровавого и вместе с тем более лукаво-изворотливого, чем большевистский, самоназванный «советским»<sup>8</sup>. И присвоивший, добавим, званье родины.

Мщением за загубленную жизнь и загубленного отца становится миссия русского интеллигента. Гамлетовские терзания неведомы ему. И былую преданность матери-Родине, матери-Партии (не свою, так старшего брата) он ощущает нынче всем своим нутром кровосмесительной близостью с коварной матерью. Вот почему так редка в современной советской и эмигрантской литературе тема сыновьего «соучастия». Образ комсомольца тех лет, рыцаря без страха и упрека, ни разу не представлен в форме автоисповеди, а подан отстраненно, с соблюдением дистанции, как солженицынский капитан Зотов из «Случая на станции Кречетовка» или как Сотников из одноименной повести В. Быкова.

Революции, войны, чистки вызвали в стране острый и хронический дефицит мужского населения. Безотцовщина — рожденное ситуацией слово выражало бытийную и психологическую суть времени. Навязчивая идентификация с погибшим отцом, мучительный стыд за отца репрессированного, сыновнее одиночество и не-

7. *Континент*, № 1, стр. 183.

8. *Архипелаг ГУЛаг*, т. 3, стр. 31.

прикаянность, мечта о невозможной встрече с ним — и по сей день одна из ходовых тем советского искусства.

Было бы слишком просто объяснять авторитарное тяготение самого писателя отсутствием отца в его жизни, хотя эта деталь и не могла не отразиться на формировании его психеи. Безотцовщина была явлением всеобщим, отметившим и тех, кто не был лишен физического присутствия отца. Тоталитарная власть отменила, загасила, затоптала его типовой и индивидуальный ореол. В тридцатые-пятидесятые годы отец был низведен до состояния жалкого, сломленного существа, находящегося в вечном ожидании ареста. Когорта легендарных командармов, генералов, орденосцев гражданской войны, этот доблестный громоотвод всенародного либидо, оказалась предателями, вредителями, английскими и японскими шпионами.

Мальчик Павлик Морозов донес на отца и деда и сделался любимым героем советской детворы. Рассыпалась связь времен и поколений, распалась патриархальная преемственность. Заскорузлый, «темный» мужик, последний из сохранившихся протагонистов тысячелетней России, хрустел на зубах молодой, талантливой, гогочущей литературы. Она издевалась над его тупой оглядчивостью и боязливым недоверием к прогрессу. Верные сыновья матери-Родины, матери-Партии готовы были по ее приказу повернуть реки вспять и разводить мандарины за полярным кругом. «Мы не можем ждать милостей от природы [от отцовской, какой же еще? — Э.К.]. Взять их у нее — наша задача!» — эти слова Мичурина, прославленного садовода и предтечи Лысенко, висели в школьных классах рядом с отборными изречениями Учителя.

Мать, стремясь безраздельно господствовать над сыновьями и целиком вбирать их витальный потенциал, сублимируя его в энтузиазм социалистического строительства, покорение Сибири и непобедимую Красную армию, зорко оберегала сыновей от посторонних чар, чар молодых соперниц. Книжной нормой женщины тех лет была «боевая подруга», отбросившая атрибуты *буржуазной* женственности в манерах, одежде, любви, чтобы ничем не осердить хмурой матери. Любовь и брак подавались бесплотнOLIрическим апофеозом товарищеской теплоты, чуткости и взаимной верности, и государство гарантировало прочность советской семьи. Донжуанство каралось беспощадно как утечка драгоценной энергии и на языке партийных трибуналов, выносящих при-

говору по делам подобного рода, называлось «нетоварищеским отношением к женщине».

Идеология выметала отовсюду эротику. Прикосновения и нескромные намеки оставались в кинофильмах за отрицательными персонажами. Из живописи исчезло изображение обнаженного тела. Помню, как приезд в Москву Дрезденской галереи (1955 г.) развязал в прессе жаркую дискуссию, подпускать или нет школьников к «Спящей Венере» Джорджоне.

Правда, поощряя деторождение, государство вынуждено было закрывать глаза на плотский, контрабандный привесок к этому трудовому *par excellence* акту, акту гражданской сознательности. Многодетную мать награждали медалью и чествовали наравне со стахановцами. Но карточки на семейную эротику удавалось отovarить с большими трудностями.

В переполненных коммунальных квартирах и общежитиях, в одной комнате с детьми, бабушкой и бабушкой, половые отношения превращались в бесстрашный цирковой номер, который мог сорваться на подступах к седьмому небу.

В недавно опубликованной книге «Сексуальная жизнь в коммунистическом Китае» д-р Ж. Валансен уверяет, что половая аффективность в Китае необычайно ослаблена и половые органы мужчин «явно уступают европейским стандартам»<sup>9</sup>.

Лет тридцать назад Запад меньше интересовался восточной проблематикой и не откомандировал к нам своего Миклухо-Маклая с его безошибочным измерительным прибором. Так что многие антропологические данные безвозвратно утеряны для науки. Но и не имея под рукой точных цифр, я берусь утверждать, что половая практика не замирала в героическую эпоху и венерические диспансеры работали с полной нагрузкой. Запрет с обязательностью порождал нарушения, тем более в той редкой области, где *измена* матери не выглядит идеологической, хотя и является безусловно таковой (иначе откуда же чувство греха, карательный пыл и всеобщая нетерпимость к сексуальности в дехристианизированном обществе?)

Иностранцы, прожившие достаточно в стране, удивляются как жестокости и единоклассию пуританской морали, так и легкости и эфемерности половых контактов. Противоречие это — лишь види-

9. G. Valensin, *La vie sexuelle en Chine communiste* (Сексуальная жизнь в коммунистическом Китае), J.-C. Lattès, Paris, 1977, p. 136.



мое. Воровать клубничное варенье в материнской кладовке — на ходу, в спешке, не прожевывая и, по возможности, «из разных банок», чтобы было «не так заметно», — не значит признавать это занятие достойным, нормальным и полноценным актом.

«Разврат» не снимает факта подавленной сексуальности. И Валансен не заблуждается, рисуя происходящее при социализме *усыхание, отмирание* пениса, размеры коего, можно допустить, обратно пропорциональны свирепости и алчности тоталитарной матери. Но процесс этот — условный, символический, а не реально-патологический, как думает почтенный доктор.

Тотальное выкачивание, от которого безотчетно пытались уклониться сыновья (далеко, впрочем, не все), отозвалось сумрачными ассоциациями в литературном и фольклорном воображении. «Только соки русские нужны вурдалаку, а тело замертво пропади»<sup>10</sup>, — восклицает Солженицын в «Архипелаге». «Ребята, с голоду пухнем, коммунисты всю кровь через х... высосали!»<sup>11</sup> — причитают эски-уголовники в припадке коллективного отчаянья и ненависти.

Однако необычный характер этой связи, этих тесных отношений с матерью нашел выражение не в одних апокрифах. Идеология никогда не скрывала, чем напоены ее знамена, и искусство 30-х годов, литература социалистического романтизма постоянно имели дело с кровью. Кривавой мистикой мерцают стихи лучшего из истинно советских поэтов Э. Багрицкого:

*Но в крови горячечной  
Поднимались мы,  
Но глаза незрячие  
Открывали мы.  
.....  
Чтоб земля суровая  
Кровью истекла*

и т.д.

Истекают ею и романы Н. Островского, кумира довоенных комсомольцев. Островский пожертвовал революционной власти свое здоровье и молодость. Слепший, разбитый параличом, он призывал под занавес жить «так, чтобы, умирая, смог сказать:

10. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 28.

11. Вадим Делоне, Портреты в колючей раме, Эхо, № 4, 1979, стр. 74.

вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества» (другой неперемный девиз школьных стен).

Книжному герою пятилеток вменялся аскетизм, отказ от телесных утех, от консервативной, эгоистической плоти, оставшейся нам от проклятого прошлого. Ни в одной литературе не было столько калек и посиневших инвалидов. Увече и немощность стали свидетельством духовного здоровья.

Опростаные от плоти и крови, все эти корчагины, мученики, хунвейбины и штурмовики социалистического строительства витали в сладостной взвинченной прострации. Но их парение, их идеологический оргазм не мог длиться вечно. Из жизни народа уходит на то обычно одно-два десятилетия. Потом неизбежно наступает похмелье, опустошение. Полная красок и цветов, звенящая голосами птиц, октябрят и заслуженных артистов родина вдруг превращается в мертвенно-серую, безмолвную пустыню. И вместо восторга самоотдачи «мутью подступает к горлу»<sup>12</sup> пакостное ощущение изнасилования.

Когда Запад смотрит на нас в период экзальтации, летаргического энтузиазма, он видит перед собой сознательных и пьяных от счастья пионеров будущего. Когда он созерцает нас в идеологические сумерки, то принимается с жадностью за произведения Солженицына, открывает существовавшую до него лагерную литературу и удивляется, что не слышал о ней раньше. Опоздав на встречу с Гулагом, он переваривает сейчас впечатления и еще не готов к аналитическому размышлению. Редкие и разрозненные попытки в этом направлении связаны прежде всего с узнаванием в советском опыте знакомых тем и вариаций из психопатологии фашизма. Например, французский критик Роже Дадун, опираясь на «Показания» Марченко, на «Архипелаг» и известное стихотворение Осипа Мандельштама о Сталине («его толстые пальцы, как черви, жирны», «тараканы смеются усища» и «что ни казнь у него, — то малина»), приходит к заключению, вынесенному в заголовок короткой, но емкой статьи «О каннибализме как высшей стадии сталинизма»<sup>13</sup>.

Такая оценка сталинизма, будучи несомненной сама по себе, рискует, однако же, затушевать его главное назначение. Услуги

12. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 36.

13. *Nouvelle Revue de Psychanalyse*, VI, 1972, pp. 269-272.

«Великого Мясника»<sup>14</sup> понадобились партии, чтобы приручить, загипнотизировать приговоренных к жизни, сделать из них добровольных и радостных доноров режима. И в этом смысле *культ личности*, как ни внушительна возведенная им пирамида из 60 миллионов черепов, — «исторически второстепенное»<sup>15</sup>, если воспользоваться определением философа-коммуниста Альтуссера, *служебное* проявление бюрократического социализма.

Каннибализм — архитипическая сущность режимов фашистского и ультрареакционного толка с ярко выраженной мужской доминантой. Левый тоталитаризм выдвигает на передний план порок матери, ее врожденное злодейство. Брачный союз вампира с каннибалом держится на взаимном расчете и страхе. И едва овдовев, партия осудила *культ личности*, обвинила его в напрасном кровопролитии. Ни в одной из стран социализма местный сталинизм не имел наследников по мужской линии.

И что с того, что своею критикой партия наносит непоправимый урон идеологии, убивает ее идейно-религиозное обаяние, обращает в мертвый обряд? Митинги, лозунги, юбилеи, субботники, вахты и прочая некрофильская дребедень оглушают личность, мешают ей реализовать свое неверие, выпасть из оцепенения и стадного состояния. Под звон ритуальных литавр и вой государственных шаманов из нее по-прежнему выщепивают трепетную человеческую субстанцию, которой питается живой труп идеологии, «эти вурдалаки, этот дракон над нами»<sup>16</sup>, как вырвалось однажды у Солженицына. И преклонный возраст руководителей, их бесконечные проблемы со здоровьем, длительные исчезновения и неожиданное чудесное возвращение к жизни и государственным обязанностям играют на это внутреннее наваждение, на этот злокачественный коллективный *фантазм*...

Но продолжим психодраму комсомольского, солженицынского поколения. Сверстники «боевых подруг», вернувшись в Москву конца пятидесятых годов из экспедиций, лагерей и со строительства епифанских шлюзов, нашли город сильно изменившимся. Особенно поразила их современная молодежь. Не изведавшая ни прежних форм тотальной сублимации, возможных только при жизни Отца народов, ни надзора собственного отца, она возмуща-

14. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 385.

15. L. Althusser, *Réponse à John Lewis*, Maspéro, Paris, 1973, p. 93.

16. *Вестник РХД*, № 127, 1979, стр. 287.

ла закаленных в битвах и труде мужей своей идейной разболтанностью и половой распущенностью. В последнем был тревожный знак ослабления дорогого им материнского порядка, что обесценивало и обесмысливало их обет, несло угрозу их отцовскому приоритету и разжигало страх перед открытой, неуцеленной сексуальностью. (Не он ли заявляет о себе в советских эмигрантах, когда они приходят в ужас от западной порнографии и требуют закрыть ее брезентом цензуры?)

XX съезд не вернул миллинам отцов их авторитета, золоченой отцовской геральдики. В душеспасительных беседах с непочтительными, фыркающими в лицо сыновьями они добросовестно и брюзжаще прокручивали пластинку с заезженными материнскими догмами, вспоминали подвиги и лишения бестелесной молодости и ее идолов, прикованных к одру и отдающих всю свою кровь идеологическому вампиру.

Так разразился «конфликт поколений», литературный бунт советских «сердитых молодых людей» во главе с Евтушенко и Аксеновым. Стихи, повести, киноленты отказывали выжившим отцам в праве выступать от имени мертвых, от имени революции. Подразумевалось, что лучшие пали *на той далекой, на гражданской*, на отечественной и в сталинских лагерях. Они-то и были настоящими отцами. С ними, через голову живых, и вела напряженный и взволнованный диалог «молодежная проза».

На идеологическом рынке, официальном и либеральном, резко подскочили цены на Ленина, которого писатели и артисты тщательно отмывали в источниках революции от ядовитых красителей сталинского мифа.

Аскетический, угасший на посту Ленин, сохраняя канонические черты отцовского племени, являл в то же время нечто совершенно новое и неслыханно смелое. Он захватывал бешенством холодного ума, убийственной критикой бюрократизма, «комчванства» и догматической мертвечины. Его простота, пренебрежение к позе и внешнему эффекту, человечность и гуманизм (качества, усиленные кистью новых адептов) — ложились горячими красками на доску отцовской иконы.

Из материнского плена бежали в ту пору ленинской тропой. И «нравственный социализм», развитый героями Солженицына, как бы ни отрешивался от него нынче автор, не слишком удалялся от общего маршрута.

Тропа эта заросла и сгнула в дремучем лесу памяти. В храме Ленина — мерзость запустения. Хотя сюда пригоняют строем и заставляют с хронометром в руках зачитывать и заслушивать идеологическую латынь, душа бежит этого места. Она — в ином Храме. В том, где русский интеллигент встретился наконец с подлинным Отцом и его нетленным заветом. И куда не смеет войти тоталитарный призрак.

Социалистическую урну, собранную когда-то впопыхах и беспорядке из черепков разбитого христианского сосуда, не держит более ленинский клей. Слепо и неудержимо их стремление сойтись в изначальном замысле.

Можно долго спорить, посильна ли эта задача и что составит содержимое реставрированного сосуда. Синтезируются ли невротические флюиды массовой психологии и идеологические субституты во «всамделишную» веру и если да, то сколько уйдет на это времени...

Но нас занимает в исследовании не столько небесный, сколько земной отец. Приближение к его стопам отдается в советском интеллигенте священным трепетом перед всем, что светится традицией и вековой устойчивостью. Не заставший патриархального уклада, привыкший к калейдоскопическому взлету и падению полудержавных фаворитов и к головокружительным зигзагам генеральной линии, он жадно припал к чаше отцов.

Не замечая окружающей действительности, этой затянувшейся дорожной аварии, кошмарного сна, который развеется с первыми лучами солнца, он погрузился в русскую историческую непрерывность, упивается дедовским обычаем и культурой, отдувая к краям чаши как сор все, что хоть издали связано с революционной перспективой и нашло огрубленное продолжение в советский период.

В легальной общественной жизни эта потребность выразилась в пышном расцвете «деревенской прозы» (конец шестидесятых годов) с ее ностальгическим любованием исчезающего национального узора и плачем по утерянному наследию. Консервативную оглядчивость мужика она вознесла над волюнтаристским нахрапом деклассированного большевика и пролетария, сброшенного на деревню для создания колхозов. И вот уже они, фанатики и исторические кастраты, разрушители церквей и деревенского быта, хрустели на зубах либеральной и «мужицкой» повести, националистической поэзии и публицистики журнала «Молодая гвардия»,

нашедшего могущественных покровителей в самых высоких сферах.

Вылазки национал-большевиков и возросший в правящих кругах спрос как на них, так и на неосталинистов, не содержат ничего неожиданного. Олигархия искала и ищет, какой клюшкой подпереть дряхлеющую материнскую власть: национальной традицией или новым, крепким баткой.

Труднее понять группу московских литераторов, не обиженных ни умом, ни талантом, ни образованием и не имеющих шкурных, социальных интересов в сохранении и реанимации режима, таких как П. Палиевский и В. Кожин. Гвоздь их программы: передел советской культуры по национальному признаку. Все что ни есть в ней здорового, коренного, неувядающего — создано, по ним, русскими руками. Все чуждое, искусственное, навязанное — лукавыми пришельцами. Они собираются освободить Россию, *русифицировав* ее.

«Инициатива москвичей» соблазнительна видимостью вольнодумства и оппозиции. Наделяя мать семитскими чертами, они выставляют ее чужеродной мачехой, отвращают от ее культурного и идеологического наследия и пробуждают, как им кажется, национальное сознание обезличенного и обескровленного народа.

На самом же деле происходит не пробуждение, а погружение в новый дурман. И «вольнодумство» это — такое же мнимое. За него не нагорает. Оно отвечает тайным вожделениям власти.

Ксенофобия есть регрессия, есть тяга назад в тоталитарное лоно под предлогом выхода из него. Ксенофобия — цепляние за зловещую и ветхую юбку матери. И в чаду погрома, литературного или уличного, мать неизбежно примет русский облик, поднимет национальную хоругвь и омолодится потоками свежей крови и иступлением. На крови и ненависти работает ее двигатель внутреннего сгорания. На чужих изображениях пролезает она в наивные и незрелые души.

Она — русская для украинца, латыша, чеха, для окраинных и лимитрофных национализмов. Она — жидовка для русского экстремизма.

Но она ни то, ни другое, ни третье. Она — мираж, радиоактивный отброс «истребительно-жадного» прогресса, захороненный в разных углах земного шара, подальше от берегов Темзы, Сены, Миссисипи. Безродный вампир, нетопырь, насытившийся кровью разных народностей. Она обратила свою первую и главную вотчи-

ну в царство теней, бредущих как в тумане по ее мерям и весям и по страницам солженицынской прозы, заливающих водкой порожнее нутро, озлобленных, понурых, слабых, к которым прилипает любая дрянь, любая духовная зараза. Покончить с окрутившей их властью, остановить ее похабные оргии можно лишь только, согласно народному поверию, если вбить осиновый кол в ее резиновое идеологическое сердце.

В книгах Солженицына ей чудятся взмахи этого кола. И нет ей больше покоя с тех пор, как объявил он ее — вне человеческого закона.

А писатель, опознав в советском коммунизме отрицание народной жизни и злейшего врага нации, оказывается тем самым в лагере, противоположном безотрадному, циничному и всеядному «патриотизму».

За разговорами об общей, одной на всех родовой матери мы забыли мать родную, «собственную» и ее роль в отдельной советской семье. Тоталитарное господство над русской женщиной не было таким же абсолютным, как и над мужчинами. Домашние заботы, дети не позволяли ей долго находиться в зоне идеологической интоксикации. Она оставалась с детьми или внуками, заменяла отсутствующего главу семейства и сумела передать им те неизменные и непреходящие ценности, которые ухитрилась не растерять сама в это смутное время великого распада, массовой бойни иковки «нового человека».

Женщина была пуповиной, соединяющей детей и внуков с родной землей, культурой и языком, очищенным в материнском произношении от марксистского эсперанто.

О ней, о «своей» матери рассказывает фильм Тарковского «Зеркало». О ней поет Булат Окуджава:

*Настоящих людей так немного,  
Все вы врете, что век их настал.*

.....

*На Россию — одна моя мама,  
Только что она может одна!*

Чем целостнее была ее личность, чем прозрачнее глубина души, тем легче было ее детям скинуть тоталитарные объятия, когда пришла тому общая пора. Отцеисцание вывело их через русскую культуру, язык и житейскую этику к трансцендентным истинам

человеческого рода. Обретение отца стало для них обретением духовной независимости и, я бы сказал, «возвращением» к демократической психологии.

У других отход от идеологического наркоза протекал в затяжной и спазматической форме. В муках революции и раскола слышали они шаги отца. Тяжелые, как шаги командора. И смена родительского караула стала для них сменой духовного гнета.

Обе ментальности, однако, встречаются не только в чистом виде. Нередко они уживаются в одном и том же индивиде, в творчестве одного и того же писателя. Зоны их влияния отчетливо видны у Солженицына. Так, если «Матренин двор» выдержан в первой тональности, то в «Августе» и публицистике преобладает авторитарная психология.

Она заявляет о себе пламенной нетерпимостью. Манихейством политических представлений. Недоверием к демократии и к способностям человека отстоять свою свободу и самостоятельность. Отвращением к революционерам, которые подозреваются, и неспроста, в смердяковском грехе, в намерении отцеубийства и по сему лишены всякого участия и понимания со стороны романиста, забывшего свои же прекрасные слова о том, что «разделительная линия добра и зла» проходит не между людьми и, стало быть, литературными героями, но внутри каждого человека.

Авторитарные настроения дают себя знать и в равнодушии к идеалам социальной справедливости как к попытке нивелировать патриархальное и природное неравенство (на этом опасении возшла «капиталистическая утопия» романа). В стихийном фаллоκραтизме, которым отмечены женские образы «Августа», инфантильные и беспомощные создания, эманация мужского ребра, однозначная функция сложной и самобытной мужской судьбы.

От авторитарного контекста неотделим и монархический пункт солженицынского мировоззрения. Один из наиболее уважаемых персонажей романа, скромный и отважный генерал Нечволодов говорит, что «монархия есть не путы, а скрепа России, (...) она не сковывает, а удерживает ее от бездны» (467).

Правда, писатель не присоединяется открыто к заявлению Нечволодова, но его правоту признает на свой лад другой герой... солженицынский Ленин, что не спешит с отъездом из Цюриха в охваченный февральскими волнениями Петроград. Пока в России есть царь, ему там нечего делать. Долго ли царю направить послушные войска на взбунтовавшуюся столицу? Царь для Ленина,



как можно заключить из его монологов, — единственный серьезный противник, единственное непреодолимое препятствие его планам и расчетам. И только получив официальное известие об отречении царя, Ильич «заказывает» билет у агентов германского генштаба.

Более снюансировано отношение к монархии полковника Воротынцева, самого близкого Солженицыну героя. Полковник Воротынцев различает «Царя — неименованного, безликого, вечного», против которого он ничего не имеет, и «этого царя, сегодняшнего», кого «он презирал, стыдился» (328).

Сам же романист ищет логическое равновесие между реабилитацией монархического принципа и возданием должного его конкретному представителю на земле, *непутевому* и недалекому последнему русскому императору, что ему не очень удается, по крайней мере, в первом узле, но речь об этом впереди...

Вообще же, надо сказать, что монархия, собирая в себе необходимость сыновьего послушания, законность, традиции, национальную непрерывность, авторитаризм и *помазанничество*, то есть такой отцовский дар, которому она обязана не людям, не толпам, не партиям, а исторической и надысторической природе, была бы подходящим ответом на идейно-психологическое состояние, обрисованное нами в этой и предыдущих главах.

Одну из них я закончил недоумением, почему-де рассказчик, явно устав от поражений и бездействия отцов нации, даже не задумывается над возможностью диктатуры «компетентных военных», умных, волевых и преданных России сыновей. Теперь понятно, почему оставляет писателя безразличным эта рабочая гипотеза истории.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



## 12. КОНФЛИКТОГРАММА «АВГУСТА»

Художественный материал эпопеи кристаллизуется вокруг самых твердых и крупных зерен писательской философии и психологии. И разбивается на два основных антагонистических блока.

Один из них — это Ленин и его подручные, замышляющие разрушить до основания старую Россию и заведенный отцами порядок. Другой — те, кто инстинктивно или сознательно поднимается на защиту отчего дома, каким его рисует воображение писателя, жажда утерянного рая.

Таков конфликтный центр произведения, и все прочие конфронтации, как бы далеко они от него ни отстояли: на фронте, в салоне, в университетской аудитории — на самом деле производные от главного конфликта.

В этой главе мы рассмотрим расстановку антагонистических сил накануне революции и в театре военных действий, проведем инвентаризацию конфликтных ситуаций и замерим сосредоточенную в них конфликтную энергию.

«Ленин в Цюрихе» заключает потенциальную энергию вождя. «Август» — кинетическую энергию поступков. На его страницах неистовствует война, за которой из Швейцарии внимательно следит, чтобы не пропустить свой выход на историческую сцену, руководитель еще неизвестной миру революционной секты.

... Бои в Восточной Пруссии развиваются в романе примерно по одному сценарию. Какой-нибудь полк, дивизия, корпус стойко отбивает одну за другой атаки немцев, не дрогнет под артиллерийским огнем и даже собирается контратаковать опешившего противника. И тем не менее наступление глохнет, завершается поражением, потому что иссякли боеприпасы, не подошли свежие резервы, покидает неожиданно позиции сосед, оголяя фланг противнику, или — еще хуже и обиднее — раздается штабной звонок с приказом об отступлении в то самое мгновение, когда русские подтянули кулак и враг, изнуренный бесплодными штурмами, вот-вот покатится в панике.

Солженицын дает подробную дислокацию войск, знакомит с картой местности, разбирает возможности нереализованных ударов, но после двух-трех таких боев читательский интерес к военно-оперативной стороне падает, потому что все это ни к чему: эрудированная указка военного историка, смерть, героизм, забрезживший успех – все равно «генералы напутают» (329).

Потому что в русской армии на самых высоких постах пребывают бездарные и чопорные куклы «с иконостасами орденов от шеи до пупа» (111), добившиеся наград и чинов при дворе или в военной администрации империи, проходимцы с прусскими фамилиями, чья преданность отечеству вызывала самые серьезные опасения. Немало было и просто тупиц, «умопомрачительных дураков» (293) и лихих кавалерийских рубак, совершенно теряющихся в вавилонском столпотворении современной войны и проповедующих трескучий патриотизм полкам, которые они прогоняли десятки километров пешком вдоль железнодорожного полотна, прежде чем бросить в бой.

А между тем на ошибках русско-японской войны, сообщает романист, в армии взошел «военный ренессанс» (110), когорта молодых и талантливых военных во главе с генералами Головиным и Палицыным, стратегами европейского значения. Незадолго до начала сражений царская камарилья удалила их с ключевых постов, расплыла по гарнизонам. Вместо их военных планов, учитывающих интересы и характер страны и стратегические особенности пограничных областей, были в спешке приняты новые установки, глядевшие вызовом здравому смыслу и целесообразности. (Сталин повторит, в сущности, тот же ход, истребив перед войной армейское руководство и забросив пограничные укрепления. Видно, такой уж удел России в XX веке – выходить на поле битвы обезглавленной и безоружной. Не отсюда ли комплекс кастрации у советских генералов, их настырное присутствие во всех углах земного шара?)

В «Августе» немцы выигрывают, потому что у них стратегические разумные и достижимые цели, правильная организация фронта и тыла и, самое важное, военная школа, «единая техника военной мысли, поголовно воспитанная в немецких начальниках по завету Мольтке-старшего: гениальный полководец есть случайность, участь народа не может зависеть от такой случайности; посредством же военной науки победоносная стратегия должна осуществляться и средними людьми» (197).

Русские проигрывают, потому что их генералы не прошли военной школы и в подавляющем большинстве «не умеют водить части крупнее полка» (568).

Является ли такая война осмысленным драматическим поединком, столкновением двух национальных волей, в результате которого образуется некий заслуженный победный перевес? Очевидно, нет.

Немцы побеждают, несмотря на отдельные просчеты и крайнюю осмотрительность своего командования, средних людей, облаченных в офицерские и генеральские мундиры. Русские сдают, невзирая на храбрость и стойкость своих солдат.

«Все останется так, а ты голову разобьешь, — вздыхает полковник генштаба Свечин, один из меньшинства компетентных начальников. — Россией должны непременно править дураки» (554).

Солженицын высмеивает фетишизм икон и эпидемию молебнов, захлестнувших русскую армию. Бог, по мнению романиста, ни на чьей стороне. Он представляет обоим христианским народам самим решать свои споры на поле брани. А двойное превосходство немцев в артиллерии имеет земные причины.

Провидение ли тому виной, люди или исторические условия, — как бы то ни было, над русскими войсками нависла беспроглядная мгла поражения.

Странное дело. Толстой часто рассуждает о недоступном человеческому разумению высшем смысле событий, о невозможности направить их в желанную сторону. Однако изображенные им батальные сцены и поведение в них его героев зачастую опровергают эту умозрительную уверенность. Возражая ему, Солженицын возносит инициативу и активность, всячески подчеркивает роль личности в истории, однако все усилия его толковых, находчивых и мужественных командиров разбиваются о роковую стену бездарности, безалаберности и бесполовой суеты, царящих в русской армии.

Что же касается победителей, то и они не затмевают побежденных по части боевой активности. Немцы выступают у Солженицына безличностной, послушной массой, ведомой военно-грамотными начальниками, которые не нуждаются ни в стратегическом блеске, ни в персональной храбрости и обходятся «верной победой средних людей» (360). Любые попытки перебить размеренный шаг колонн, ускорить движение к победе, осмыслить его смелым, изобретательным маневром — оказываются в романе ненужными, лишними. Солженицын даже подтрунивает (совсем по-толстов-

ски) над самоуверенным задирой фон-Франсуа, кто своею неумной драчливостью мешает неумолимому продвижению немецкого катка по рыхлому и несобранному телу русской армии и только подвергает напрасному риску жизнь вверенных ему солдат и успех тщательно продуманной Людендорфом операции.

Правда, иронизируя над «Великим Старцем», Солженицын указывает на «своевольного Франсуа, вероятно не ведавшего о совете Льва Толстого, что "бесмысленно становиться на дороге людей, всю свою энергию направивших на бегство". И сверх приказа гнал и гнал Франсуа своих уланов, самокатчиков и блиндированные автомобили через Найденбург — и дальше на восток...» (360).

Но уже через семьдесят страниц, забыв, надо думать, полемику с Толстым, Солженицын ставит «своевольного Франсуа» на место. Оказывается, рисковал он сверх всякой меры, и выполни русские войска приказ Самсонова и займи они Найденбург, смяв его слабую защиту, был бы тогда корпус Франсуа «в тесных клещах с угрозой ответного окружения» (432). Вот и выходит, что слушаться надо было Гинденбурга-Людендорфа, не хватающих звезд с неба и боящихся на волосок отступить от системы, если уж Толстой не авторитет маленькому генералу, страдающему манией Наполеона.

Положительно, ни победы, ни поражения не зависят от участников сражения, от персонажей, занятых в батальных сценах романа, от напряжения мускулов и воли борцов. Война идет между бесцветным учеником, добросовестно зазубрившим военный урок, но объятый «слепотой осторожности» (300), и неучем, который демонстрирует «полное отсутствие смысла в вождении сотысячных масс» (300), проявляющих без пользы чудеса героизма и стойкости. Война идет между *системой* и *антисистемой*.

Заметим, что такая трактовка русской боеспособности не по вкусу национальному критику А. Скуратову. Он сомневается, что Солженицыным «правильно найдена зависимость "чем выше, тем безнадежней"»<sup>1</sup>, и что все ответственные лица в русской армии были столь безответственными. По нему, командующие «отдавали себе отчет, что поспешное наступление на Восточную Пруссию осуждено на неизбежную неудачу. Но французы паниковали, кричали, что немцы перебрасывают войска с востока на запад, тогда как на самом деле было совсем наоборот. Чего же удивляться,

1. «Август» читают на родине, стр. 44.

что Жилинский толкал Самсонова?»<sup>2</sup>. Его самого толкала необходимость, союзнический идеализм<sup>3</sup>, а не безмозглое упрямство, как думает Солженицын.

Посылку незашифрованных радиogramм тоже несправедливо почитать фактом исключительно русской безалаберности. Немцы поступали точно так же в начале войны. Оспаривая общие драматические принципы солженицынской схемы, Скуратов восклицает: «Нет, мы не единственные дураки во всемирной истории и не единственные грешники»<sup>4</sup>.

Национальная критика обвиняет романиста, что тот передоверился немецким источникам, всячески раздувающим значение своей победы. Но немцы вряд ли были заинтересованы усугублять кретинизм царского генералитета и неуправляемость русской армии. Не многого стоит победа над таким противником. Им гораздо выгоднее было утверждать превосходство *немецкого духа*, а в этом им решительно отказывает Солженицын.

Мы покидаем театр военных действий с ощущением, что настоящая война между русскими и немцами еще не началась, что она еще ждет своего часа. Ее результат лишь тогда перестанет быть фатальной предрешенностью, лишь тогда перестанет «выигранное отличными полками тут же разматываться в прах негодными корпусами и армиями» (358), когда русские преодолют свою неуправляемость, а это случится не раньше, чем военные специалисты, *младотурки*, которые ничуть не глупее немцев и не уступают им ни в военном искусстве, ни в находчивости и упорстве, отнесят от пульта управления истуканов в золотых эполетах.

2. Там же, стр. 47. Скуратов основывается на мемуарах французского посла в России Палеолога.

3. Солженицын тоже имеет зуб на союзников. Их «лягают» все его герои-патриоты: «Был при Бисмарке союз трех императоров, и полвека жила спокойно Восточная Европа. Русско-германский мир полезней был этих манифестаций с парижскими циркачами» (319). Откуда столько недружелюбия и почему «с циркачами»? Причиной тому – *неблагодарность* союзников: мы спасли вас в 14-ом, а вы бросили нас в 17-ом. И то же самое повторилось во Вторую мировую. И потом французы не особенно котируются в русском массовом сознании. Оно приписывает им беспечность и фанфаронство. Немецкая авторитарная дисциплинированность куда надежнее французского демократического «цирка»!

4. «Август» читают на родине, стр. 48.



В стане русских воинов складывается вторая конфликтная ситуация. Отважный и умный офицер, полковник Воротынцев больше, чем противника, ненавидит своих начальников. «Так бы шашкой и раскроить этот лоб бараний!» (248) – вскипает Воротынцев, глядя на командующего корпусом Артамонова, бежавшего с поля боя и передавшего по телефону приказ об отступлении в тот миг, когда луч победы сверкнул было русским через густую мглу поражения и корпус готов был погнать немца.

Генералы платят той же монетой самонадеянным «недобытым младотуркам» (569). Они настраивают против них двор и министерство, вредят им на каждом шагу и цепко держатся за свои посты.

Побывав с Воротынцевым в Ставке, читатель начинает понимать, что компетентным военным, «природным командирам», не взять верха над своим главным врагом. Все эти протезы царя, императрицы, распутинской партии и нечистоплотного министра Сухомлинова – слишком твердый для них орешек. *Младотуркам* остается скрежетать зубами в бессильной ярости. И так будет продолжаться до тех пор, пока монархия сохраняет за собой военные prerogatives.

Стало быть, исход конфликта зависит от событий, которые, если и происходят, то вне самой конфликтной сферы, то *за сценой* романа. Что и ослабляет существенно драматизм происходящего и объясняет отчасти ту тягостную атмосферу предрешищенности, более толстовскую, чем у самого Толстого, в первом и втором конфликтном планах.

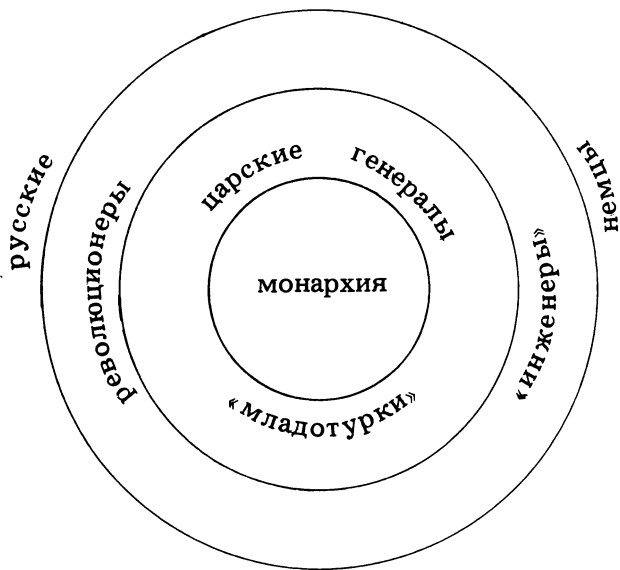
В ожидании сообщений с фронта замерли также ряды *инженеров* и *революционеров*, третьей конфликтной пары. Для *инженеров* победа или хотя бы сносный мир будут сигналом к возобновлению прерванного войной промышленного строительства. *Революционеры*, словно стервятники, выжидают момента, чтобы вонзить когти в истерзанную, смертельно ослабленную страну.

Иными словами, появление *гонца* с благими или дурными вестями приведет в движение «боевые порядки» всех трех антагонистических пар.

А пока что, в «Августе», они довольствуются изложением позиций, перебранкой в Ставке или вокруг обеденного стола в гостиной промышленника Архангородского. *Инженерам*, как нам известно, претит политическая инициатива. *Революционеры* же сходятся на том, что для революции не сложилось объективных пред-

посылок. Все попытки немецкого агента Парвуса взорвать Россию изнутри, парализовать ее стачками и манифестациями терпят неудачу. На идеологическую непонятливость солдат жалуется и поручик Ленартович. В этот суровый час простой народ в патриотическом порыве сплотился вокруг монархии.

Три рассмотренные нами конфликтные ситуации поддаются графическому изображению в виде трех concentрических окружностей:



Окружности передают замкнутость и безысходность заключенных в них конфликтов. Три кольца стянуты вокруг устойчивого и инертного ядра-монархии.

Чтобы привести каждую пару антагонистов в состояние открытого столкновения и, не дожидаясь *гонца* (солженицынской историографии противопоставлено ленивое ожидание у моря погоды), расщепить все три замкнутые оболочки, для этого нужно бомбардировать ядро монархии и высвободить русскую армию от ее мертвой хватки.

И такой выход не просто результат отвлеченного размышления, не просто графическое решение проблемы. На него намекает и материал романа. Так, полковник Воротынцев берет на себя горячую защиту Думы. Дума-де обвиняет военное министерство, что «оно не требует, мало требует средств! Дума уже несколько лет настаивала, что нужно артиллерию увеличивать, что мы не готовы» (147) и т.д. Из слов Воротынцева явствует, что именно российский парламент трезво оценивает обстановку и мог бы дать армии компетентное командование, изгнать никчемных и безграмотных генералов.

Однако приоткрыв дверь этой возможности, автор тут же ее и захлопывает. Партии, «траги-опереточные» (495) думские заседания, как и любое активное политическое программирование, глубоко чужды остальным героям. Представители *нового класса* безжалостно вышучивают все, что связано с кадетским политиканством: «Юристов у нас развелось, простите, как нерезанных собак» (135), или: «Не думайте, что республика – это пирог, объединение. Соберутся сто честолюбивых адвокатов – а кто же еще говоруну? – и будут друг друга переговаривать» (536).

Робкое и короткое соло Воротынцева уступает очередь громкому и неумолчному хору ненавистников политики, в котором степенные баритоны *специалистов* спеваются странным образом с визгливыми дискантами радикальной интеллигенции и к которому немного погодя присоединяется сам Воротынцев, третируя русское политизированное общество как «безумное», поскольку оно «радуется поражению» и «все валит на царя, на царизм» (109).

Воротынцев с такой поспешностью ретируется с передовых позиций, что мы перестаем, признаться, поспевать за героем и автором. В *безумном*, что и говорить, обществе живет полковник: оно *радуется* поражению своей армии и в то же время требует в парламенте ее усиления. И не у Воротынцева учиться ему последовательности. Разве логично отводить от царя удары и сражать царя же огнем своих обвинений?

«Одна глубокая тяга сосала Воротынцева от самой молодости: иметь благое воздействие на историю отечества. Тянуть его или толкать его, непричесанное, куда ему лучше. Но силы такой, но влиянья такого не отпускалось в России отдельному человеку, не осененному близостью короны. И за какое место он ни хватался и как из сил ни выбивался – всегда втуне» (215).

После этой тирады на кого же еще, спрашивается, *валить* русские беды?

Как режиссер событий автор поставлен в затруднительное положение. Провозглашая личность творцом истории и раскрывая ей глаза на угрожающую стране опасность: «Два-три таких поражения подряд – и искривится навсегда позвоночник, и погибла тысячелетняя нация» (109), – он существенно сужает поле действия этой личности, удерживая ее от организованной и целенаправленной борьбы с политической первопричиной подобной опасности. От деятельности, что должна была бы стать драматическим рычагом эпоса, что должна была бы разомкнуть все три напрочь блокированных конфликтных кольца.

Полковник генштаба Свечин отговаривает своего коллегу и друга Воротынцева от разоблачительного выступления в Ставке. Единственная реальная польза, что Воротынцев и он могут, по его разумению, принести отечеству в опасности, – это выправить два-три в день нелепых приказа, уменьшая тем самым напрасные жертвы и масштабы очередной катастрофы.

Примерно таков и девиз *инженеров*: «Работать, убеждать и понемножечку сдвигать...» (537)

Как мало это для России, стоящей на краю пропасти! И как далеко от гимна решительным действиям, не раз определившим якобы судьбу всего человечества в XX веке!

## 13. МОНАРХИЯ И ДЕМОКРАТИЯ

Солженицын не ведает, что когда его герои демонстративно отворачиваются от политики, зарубежный читатель непременно видит в этом движении равнение направо. Писатель не знаком с условными жестами западного политического балета, он хочет сказать, что его герои – ни слева, ни справа. Они России верные сыны.

А политика в то далекое время была целиком борьбой с самодержавием. Даже правые веховцы не жалели жестоких слов в адрес «полицейского самодержца»<sup>1</sup> (С. Булгаков). Даже монархисты согласны были с «переменой шофера на полном ходу автомобиля»<sup>2</sup>, по модному тогда выражению. Слева направо была очевидна неспособность императора продолжать войну.

Февральская эйфория охватила все слои общества. И лишь немногие горевали в стороне. «Я знал шестым чувством, что Царь не шофер, которого можно переменить, но скала, на которой утверждаются копыта повиснувшего в воздухе русского коня»<sup>3</sup>, – признается Булгаков, чьи статьи, несомненно, запали прочно в душу Солженицына.

И романист не желает бросить своих отборных героев в объятия политики, читай – революции. Они ведут себя мудро, призывают к национальному союзу, к прекращению партийных распрей. Каждый из них на своем посту стремится принести посильную пользу воюющей родине. Инженер Архангородский, к ужасу своей революционной дочери, участвует в «патриотической манифестации ростовских евреев», во «всепоподданнейшей телеграмме царю» (530), которого общественное мнение считало подстрекателем погромов.

1. Прот. Сергей Булгаков, Автобиографические заметки, ИМКА-пресс, Париж, 1946, стр. 84.

2. Там же, стр. 88.

3. Там же, стр. 89.

Через своих героев Солженицын как будто задумал преподать урок гражданского поведения всем тем, кто способствовал падению России, кто ничего не забыл и ничему не научился.

С. Булгаков, наблюдая агонию самодержавия, не сомневался, что «гибель царства есть гибель и России»<sup>4</sup>, и Солженицын поверил ему. Философ видел в роковых перипетиях русской истории руку дьявола. Всеобщее политическое умопомрачение, бесноватая интеллигенция, военные поражения, Распутин... И эти многочисленные враги, убеждался о. Сергей, имели мощного союзника в лице безвольного и бессильного «монарха-самоубийцы»<sup>5</sup>, которого он обожал невзирая ни на что. Увы, голос философа тонул в реве толпы, предававшейся «бесовским игрищам»<sup>6</sup> манифестаций и митингов. Булгаков был в полном одиночестве. И не кто иной, как Бердяев осуждал его апокалиптические пророчества, дисгармонирующие с революционным восторгом страны.

Статьи Булгакова исполнены мрачного фаталистического обаяния. В поэтическом отношении им нет цены, и даже густой антисемитизм не вредит общему впечатлению, удостоверяя их антикварную, ретроградную подлинность. Но концепция, питающая трагическую поэзию, едва ли плодотворна в исторической прозе.

У Солженицына борьба с монархией, при всем его отвращении к политике-революции, выглядит, хотел этого автор или нет, насущной необходимостью, не терпящим отлагательства ответом на SOS гибнущей армии. Писатель, критик общественных пороков, не умеющий удерживаться на обертонах, оказывается в Солженицыне сильнее политика, не принимающего политики. Необходимость Февраля прет из «Августа».

Как это часто бывает в большой литературе, художественная транспозиция, преодолевая узость отдельных платформ, приводит к общему знаменателю, к художественному единству их сильные, безусловные стороны. Но приведение это может быть всего лишь кажущимся, и тогда полотно начинает страдать грехами эклектики, игрой взаимоисключающих начал, путаницей исторических данных эпохи.

Так, из романа вытекает совершенно парадоксальная мораль. Борьба с царизмом уже с самого начала бежит февральской тро-

4. Там же, стр. 75.

5. Там же, стр. 82.

6. Там же, стр. 80.

пой прямехонько к октябрьскому капкану. Но и отказ от борьбы приводит к аналогичному результату. Выходит, положение России и в самом деле было безнадежным, а это совсем не то, что собирался доказать автор.

В противовес марксистской модели — отсталой, нищей России, Солженицын подает Россию динамичную, молодую, полную энергии и планов. Увы, эта Россия, заманчиво встающая из мирных глав, не больно согласуется с Россией, пораженной склерозом воли, безропотно и бессмысленно устилающей телами своих сыновей леса и озера Восточной Пруссии. С Россией, не умеющей перестроиться применительно к критическим обстоятельствам военного времени, привлечь к пульту управления находчивых, умных, компетентных людей, томящихся на второстепенных ролях.

Россия в изображении Солженицына могла лишь сопротивляться или сломаться, и эта способность — способность деспотического, закрытого общества в кризисной обстановке. Но ей не дано «приноровиться» к кризису, выйти из него обновленной и дееспособной, что составляет счастливую привилегию общества свободного или достаточно свободного, каким, по убеждению романиста, была прежняя Россия.

Какой же России верить? Иллюстративно-идиллической, пышущей экономическим здоровьем и бесперебойно пульсирующей в такт с планетарными идеями автора или России больной, страдающей закупоркой кровеносных сосудов, вполне созревшей для хирургического ножа революции? Накладывая одно изображение на другое, интегральное восприятие читателя обнаруживает несовместимые противоречия авторского сознания и нечеткость исторического фокуса.

Про Солженицына не скажешь, что писатель говорит одно, показывает другое, как это часто бывает с крупными мастерами пера, и что нам-де интересен Солженицын-романист, а Солженицын-трибун — это уже, простите, из иной области. От внимательного читателя не укроется, что противоречия в сфере умозрительной чаще всего остаются на той же стадии разрешения и в сфере художественной, выигрывая при этом в наглядности и масштабах.

Вернемся теперь к конфликтограмме «Августа». Первая конфликтная ситуация, то есть военные действия между русскими и немцами, замкнута лишь с точки зрения разумного, драматического столкновения, но в ней происходит механический процесс

медленного и неуклонного истребления русской армии. Разрыв этой конфликтной оболочки нарушит устойчивое и пассивное равновесие прочих антагонистических компонентов и повлечет за собой взрыв монархического ядра. Монархия рухнет под бременем непосильного исторического груза. Ее попросту выгонит высыпающее на улицы стихийное возмущение, когда народ, глухой до поры до времени к зову политических сирен, потеряет последнюю надежду и истощит последнее терпение.

«Культурный консерватизм, почвенность, верность преданию, соединяющаяся со способностью к развитию»<sup>7</sup>, — как говорит Булгаков, — все это красиво и спасительно, но солдаты больше не хотят гнить и кормить вшей в окопах, сжиматься под смертельным свистом немецких снарядов. И вот уже «красный Дионис ходит по Москве и сыплет в толпу красный хмель»<sup>8</sup>.

С этого момента начинается пролог советской власти. К нему приурочено появление Ленина на авансцене эпопеи. Сбросив моральную и институционную опеку христианского авторитаризма, народ станет легкой добычей ловкого и дьявольски хитрого демагога. Зная историю, мы можем выкроить из нее то, что отвечает представлениям романиста, и прогнозировать в общих чертах сюжетную канву эпопеи.

Вряд ли мы ошибемся, предположив особый интерес автора к двум эпизодам революционной хроники. Во-первых, к триумфальному возвращению из эмиграции Ленина, заставшего партию в благодушном состоянии *исторического компромисса*, критической поддержки Временному правительству. Наперекор всем он выдвинет «Апрельские тезисы» и подчинит своему революционному курсу большевиков-опортунистов, среди которых был Сталин.

Второй эпизод восходит к жаркому лету семнадцатого. Армия движется на Петроград, чтобы покончить с анархией и ликвидировать параллельную власть Советов. Но отравленный революционно-политическим ядом премьер Керенский дезавуирует главнокомандующего Корнилова, подписывая себе смертный приговор.

Итак, колебание, бессилие, «переговаривание друг друга» одних (иного и ждать не приходится от демократической республики) и волевая, демоническая целеустремленность Ленина. Вот раз-

7. Там же, стр. 77.

8. Там же, стр. 91.



ница потенциалов, вызвавшая ток Октябрьской революции. Зачинщиков хаоса и насилия обезумевшие от страха обыватели охотно принимают за партию порядка. Разложив армию и государство, Ленин приступит к осуществлению тоталитарного проекта.

А концентрические окружности «Августа» можно будет списать в архив. Ибо заключенное в них конфликтное содержание утерять всякий смысл. Произойдет перегруппировка и переориентация конфликтных компонентов. К ленинскому полюсу стекнутся радикальные элементы, подстегиваемые немецкими деньгами и штыками. К другому — ринутся все остальные: либералы и реакционеры, штатские и военные, среди которых как храбрые и проворные патриоты-*младотурки*, так и бездарные и бестолковые монархисты-карьеристы.

Гражданская война скоксует былые противоречия и антагонизмы в плавильной печи антибольшевистского движения. Тогда и начнется настоящее сражение не на жизнь, а на смерть по всем правилам драматического искусства. Исход его будет зависеть на этот раз от волевой отдачи участвующих сторон. Но это — благоприятный прогноз на будущее. Мы же анализируем экспозицию эпопеи, ее начальный узел.

И в нем полезная общественная энергия запаена в герметические кольца. Схема эта сулит неотвратимый февральский взрыв. Что, опять же, противоречит посылкам автора. По Солженицыну, не может быть анонимно-детерминированных, нерукотворных катастроф. Писатель не разделяет трагического фатализма Булгакова, он издевается над смиренным упованием русского командования на волю Божью, на иконы вместо пушек и над телеграммой царя: «Претерпевший до конца — спасен будет!» (550). Ничто в земной юдоли не совершается вне личности. За все, если поискать, должны быть конкретные ответчики.

Кто же они?

Революционеры? Но у них надежное алиби: по свидетельству «Ленина в Цюрихе», Февральская революция застала их врасплох. И потом странно было бы упрекать революционеров за то, что им удалась революция. Позволительнее, скорее, ирония над Парвусом, безуспешно пытавшимся в течение всей войны разжечь «невоспламеняемые русские дрова»<sup>9</sup>, пока отчаяние не превратило их в порох.

9. Ленин в Цюрихе, стр. 85.

Царь? Но это был бесцветный и недалекий человек, и взять с него нечего. Хорошо, когда в держатели скипетра попадают талантливые и ревностные поборники общего блага, а коли нет? Селективный механизм монархии еще более ненадежен, чем выборный — представительного управления. Монарха приходится принимать, каков он есть, полагаясь на безошибочность Промысла, что и делает Булгаков. Менее убедительно — предьявлять царю тяжелый счет и, оставляя в покое Бога и дьявола, осуждать борьбу с самодержавием.

Чтобы затушевать эту неувязку, Солженицын щадит царя и избегает резких высказываний в его адрес и в эпопее, и в публицистических текстах. Царя почему зря хаят в «Августе» революционные герои, и в такой театрально-гневливой, напыщенной манере, что вызывают симпатию к нему. Отношение же самого автора к «голубоглазому», «стеснительному государю» (560) колеблется между сочувствием и презрением. Назовем это: сочувственным презрением. Такая позиция удерживает от расползания логические швы повествования, но не приносит ответа на занимающий автора вопрос, кто же, в конце-то концов, несет ответственность за революцию, если не Бог, не Царь и не революционный Герой?

Революция — инстинктивный порыв нации, не желающей гибнуть по вине своих водителей. Она выпускает на свободу энергетический потенциал, скованный политическим деспотизмом. Можно восклицать вместе с Пушкиным: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!», и это еще не будет исторической капитуляцией. Но нельзя, проповедуя исторический активизм и нашу ответственность за все происходящее в подлунном мире, пренебрегать политазбукой и содержащимися в ней элементарными рецептами предотвращения социальных катаклизмов, которым противится наш разум. Рецепты эти, между прочим, известны любому благополучному и осмотрительному обывателю в какой-нибудь «затхлой Швейцарии», где «торжествует бацилла мелкобуржуазного тупоумия»<sup>10</sup>, но неприемлемы для благородных и патриотически сложенных персонажей эпопеи.

В поисках исторического виновника автор проходит мимо своих любимцев. Тревога и нехорошее предчувствие не мешает им источать безмятежность духа и совести, удовлетворение от исполненного долга.

10. Там же, стр. 57.

Высказываясь по сему поводу, мы вовсе не собираемся превращать умывающих руки в козлов отпущения. Тем более, что они всего лишь плод писательского воображения. Мы только прошу-пали их групповую состоятельность, исходя из писательских же требований, чтобы лучше видеть отраженные в романе истинные исторические реалии и ухватить полемический аспект изображения. Ибо, знакомясь с борьбой между обществом и самодержавием, с внезапной и скоротечной победой большевиков, читатель не должен терять из виду, что солженицынская летопись *эпически* аргументирует позицию автора в его давнем споре с либерально-демократическим толкованием Октября.

Либералы все русские беды *валят* на деспотическую власть, на петербургскую бюрократию, которая душила представительные, выборные органы и препятствовала демократическому началу укрепиться в русской действительности. Октябрь – коварная месть деспотизма, оказавшегося в Феврале не у дел. По его вине обнаружилась в Феврале слабость и неподготовленность русской демократии. Республика пала, потому что не сумела действовать решительно, потому что тянула с неотложными реформами, с земельным вопросом, с прекращением войны, с созывом Учредительного собрания, как считает Мих. Михайлов, один из левых оппонентов Солженицына. В недостаточности демократического усилия видит он причину роковой развязки в Октябре<sup>11</sup>.

Для Солженицына Октябрь – расплата за неутихавшую полувековую конспирацию, за подрыв в народе вековых ценностей и авторитета исторической власти. Кровь царской фамилии пролилась в русскую землю, обагрила карамазовых русской революции и принесла им законную кару. Простить их никак нельзя, потому что из-за них погибли все.

И здесь мы наступаем на демаркационную полосу, отделяющую в сознании Солженицына авторитаризм от тоталитаризма, а в сознании Михайлова – демократию от всех видов несвободы. По Солженицыну, необходимо опереться на авторитарные перила, чтобы не загрести в пропасть. По Михайлову, перила эти гнилые – их нужно отшвырнуть на свалку истории.

Михайлов уверен, что борьба с авторитаризмом оправдана во имя той же политической стабильности, о которой более всего пе-

11. См. статью Мих. Михайлова в сборнике «Демократические альтернативы», Ахберг, ФРГ, 1976, стр. 27-66.

чется Солженицын. Авторитаризм – фактор постоянной дестабилизации. Он радикализирует революцию, толкая ее к тоталитаризму, и порождает антитела фашизма, о чем и сокрушается Архангородский:

«– С этой стороны – черная сотня! С этой стороны – красная сотня! А посредине десяток работников хотят пробыться – нельзя! Раздавят! Расплюшат!» (539)

И концепцию Михайлова нелегко будет опровергнуть событиями новейшей истории. В XX веке авторитаризм не выдерживает напряжения современной войны. Она по плечу лишь тоталитаризму, умеющему собрать в кулак витальные ресурсы нации, или же сильной, укорененной в общественных нравах и институтах демократии. Поэтому так хрупки и нестабильны авторитарные страны в войне с тоталитаризмом. Она оставляет в стороне слишком много равнодушных. Западная помощь уходит в авторитарные режимы, как в бездонную бочку...

И далее. То, что две самые крупные из побежденных в Первую мировую войну наций вышли через разной длины периоды ослабленной, осажденной демократии в тоталитарный финал, позволяет предположить, что тоталитаризм – инстинктивный путь поверженных, униженных поражением великих наций, идет ли речь о расширении мирового пространства или о мировой революции. Одна демократия обеспечивает мир, устойчивость, социальное и культурное развитие, надежду лучшей и более справедливой жизни – все то, что Михайлов именуется «социализмом», сопровождая это понятие греющим сердце Солженицына эпитетом «христианский».

В прочитанных строчках нет ни малейшего идеологического *наблисити*. И лично я не взял бы демократию с эсхатологической нагрузкой. Не в правилах и Михайлова навязывать свой товар. О «христианском социализме» сообщаю исключительно для полноты информации. Читатель должен знать, что политические привязанности даже в православной среде не имеют постоянной прописки.

Михайлов сетует на слабость февральской демократии. Солженицын отмечает «нерешительность, половинчатость, слабость царского правительства»<sup>12</sup>. Он вспоминает, что правящие круги «не давили, а только слегка придавливали и отпускали. Они все озирались и прислушивались – а что скажет общественное мнение?

12. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 87.

Они преследовали революционеров ровно настолько, чтобы со-знакомить их в тюрьмах, закалить, создать ореол вокруг их го-лов»<sup>13</sup>.

Но пенять на слабость авторитаризма и на его заигрывания с демократией значит сознательно или бессознательно желать его таким мускулистым, что он уж и ничем бы не отличался от тоталитаризма. Такой авторитаризм избавляет от тоталитарной революции, совершая ее *мирным путем*.

Надежда Мандельштам полагает, что Сталину потому удалось скрутить в бараний рог мыслящее общество, что оно устало от анархии, митингов, домкомов, моряков с браунингами и бесшабашной революционной администрации. Оно жаждало государственного покоя. Через десяток лет прежние эксцессы выглядели цветочками, но было уже поздно...

13. Там же, т. 3, стр. 87.

## 14. ВОРОТЫНЦЕВ И СВЕЧИН

Обстановка была суровой. Была военной. Она была похожей на сражение.

*А. Введенский*

Ознакомившись с энергетическими запасами «Августа», сосредоточенными в основных конфликтных группах, попробуем теперь замерить энергию, приходящуюся на отдельного индивида. Найдем поначалу ее максимальную величину на примере самого активного персонажа, полковника Воротынцева.

Волевой и стремительный, «с летучим светлым взглядом» Воротынцев — настоящий специалист из младотурков палицынской школы. Неутомимая работоспособность и немецкая методичность сочетаются в нем с молниеносной ориентацией в боевой обстановке, железной выдержкой и спокойной, непоказной храбростью. Подобно всем патриотам романа, он «в этой кампании не для себя лично искал» (147), и ему открыт доступ в душу солдата. Полковник излучает отцовский авторитет, и одно его присутствие в окопах унимает животный страх перед рвущимися снарядами.

Офицер генштаба, Воротынцев был послан к Самсонову для связи с армией, вступившей в Пруссию. Не имея определенных обязанностей, он смог побывать в самых горячих местах сражения и составить нам подробную военную сводку.

Избежав плена и выйдя с группой солдат после бесчисленных мытарств и бессонных пешеходных ночей из окруженного немцами прусского леса, Воротынцев добирается до главнокомандующего, чтобы сообщить ему всю правду о самсоновской катастрофе.

Потрясенный князь приглашает Воротынцева повторить свой рассказ на совещании Ставки. И хотя товарищ по генштабу полковник Свечин отговаривает Воротынцева от гневного и разоблачительного выступления: «Все останется так, а ты голову разобьешь» (554), — тот решает выдать все, что накопело у него на

сердце. «Это был миг, чрезмерный для повторения: разумному боевому офицеру повлиять на ход всей военной машины» (546).

Читателю довелось побывать на этом высоком совещании. Видеть гоголевские рожи царских генералов. Слышать звонкий голос Воротынцева, который «в одну точку жег и жег» (568). Вкушать эффекты психологической и сатирической оркестровки этой венчающей «Август» сцены.

Что же до последствий «вершинного мига» воротынцевской карьеры, то прав, к сожалению, оказался фаталист Свечин.

Князь так и не отважился сместить истинного виновника катастрофы — командующего фронтом Жилинского, чья ответственность была дважды доказана Воротынцевым. Выгони князь Жилинского, завтра, пожалуй, тот всплывет еще на более значительный пост и натворит еще больших бед. И главное, там, в Петербурге, усилит своею влиятельной фигурой враждебный главнокомандующему клан императрицы и военного министра Сухомлинова. Да и что Жилинский, когда надо бы разогнать всю Ставку, всех этих навязанных князю идиотов и интриганов.

Зато гнев Верховного — и тут Свечин снова как в воду глядел — обрушивается на отважного полковника, вестника поражения, дерзнувшего перейти «границы дозволенного» (570). Князь приказывает ему покинуть совещание.

На карьере Воротынцева можно смело поставить крест. Но герой ни о чем не сожалеет. Он выполнил долг. И пусть делают с ним, что хотят. «Дальше полка не сошлют. А полком я неплохо командовал» (552).

«Нет, Егорий, — возражает ему Свечин, — ДЕЛАЮТ делатели, а не мятежники. Незаметно, тихо — а делают. Вот я за день исправлю хоть два глупых приказа в лучшую сторону, в одном месте оправдаю храброго командира полка, в другом — отведу саперный батальон от ненужной смерти, и я прожил день не зря. А сидишь рядом ты — еще два приказа исправишь, уже четыре! Бесмысленно с властями воевать, надо их аккуратно направлять» (553).

Но Воротынцев не желает и не может подчиниться голосу рассудка. И не надо думать, что герой действует в состоянии благородного аффекта. Нет, он понимал и принимал резоны Свечина. Только Свечин сидел в штабе, и самсоновская трагедия не задела его непосредственно. У Воротынцева же стояли перед глазами лица погибших солдат, и сам он едва не оставил голову в передел-

ке. Воротынцев хотел завершить личной победой бой, который русские проиграли по вине своих генералов.

Напрашивается вопрос, и, как говорит Воротынцев Свечину, «это уже не военный вопрос, понимаешь? Это уже **НРАВСТВЕННЫЙ** вопрос!» (554): какой из двух принципов поведения импонирует автору?

Вне всяких сомнений, романист одобряет жест Воротынцева. Скованному необходимостью, рациональному и внешне безупречному поведению Свечина он предпочитает прямое, открытое и целостное действие Воротынцева.

И однако же... значение победы Воротынцева подрывается мрачной точностью свечинских предсказаний, свечинской уверенностью, что у товарища нет никаких шансов поколебать невозмутимость надутых генералов, поставить их перед лицом исторической ответственности.

Акт Воротынцева должен показаться Свечину мальчишеской выходкой: «Нигде ты не можешь быть полезней России, чем здесь» (553). Воротынцев будет прекрасным командиром полка?

«Да. Если б над каждым твоим шагом не было главномещающих. А будут тебе посылать дурацкие приказы — и ты будешь выполнять и платить солдатами» (553).

И вероятность вздорных приказов после изгнания Воротынцева из Ставки сейчас может быть только большей. Для Свечина поступок Воротынцева — бегство вперед, стремление умыть руки новым назначением, избежать высшей ответственности.

Но и свечинская мудрость не убеждает Воротынцева. Устранять или приглушать оперативную безалаберность командования она еще может, но ей не дано выправить стратегические просчеты, обрекающие армию на неминуемое поражение. Философия Свечина не есть ли попытка обеспечить себе внутренний комфорт, чувство исполненного долга с наименьшими затратами личной воли?

Изучая со всех сторон, перебирая так и этак оба варианта, читатель не может уклониться от печального заключения: конструктивно-ответственное, рационально-взвешенное поведение выявляется в романе столь же малорезультативным, что и мятежная, целостная акция героя, закусившего удила. Ни то, ни другое не становится образчиком продуктивного вклада в историю. И мы снова упираемся в Россию Солженицына, пораженную склерозом воли. Ее военная партия не содержит ни одного выигрышного окончания.



Но когда оба пути никуда не ведут или ведут совсем не туда, читателя подмывает оглянуться назад: а не пропущен ли какой-либо дорожный указатель, а не выпала ли из поля зрения какая-либо третья дорога?

Ему даже начинает казаться, что он уже когда-то и где-то шел вместе с автором по ней... Пойдите, пойдите, ну конечно же, речь Воротынцева в Ставке вызывает в памяти другую сцену: выступление самого Солженицына на Секретариате СП, описанное в «Теленке»<sup>1</sup>. И на него были нацелены гоголевские рожи литературных вельмож. И он понимал, что глаголу его не прожечь стен и бархатных портьер государственного салона. Тогда-то и свернул он на *третью* дорогу: распространил в самиздате стенограмму состоявшейся беседы, так что через несколько дней вся страна узнала о ней по заграничному радио.

Вспоминаются и промелькнувшие боковым зрением и не ухваченные своевременно сознанием сами дорожные указатели: «Гласность, честная и полная гласность – вот первое условие здоровья всякого общества»<sup>2</sup>. Условие, которое неукоснительно соблюдал Солженицын в отношениях с властями большого общества, нарушая беззастенчиво «тайну кабинета»<sup>3</sup>, делая тайну начальства достоянием всеобщей гласности.

Общество Воротынцева, по Солженицыну, дышало здоровьем. И действительно, герою не было надобности тревожить иностранных корреспондентов. В России были партии, независимая пресса, парламент. И Воротынцев – единственный в романе человек, уважительно отзывающийся о Думе. Как же было не найти ему того или иного способа сообщить стране о причинах разгрома стотысячной армии, опущенных в официальных коммюнике?

Разве нет в истории прецедентов, когда личность поступалась соображениями формальной дисциплины, субординации? И разве не теряют эти соображения смысл, как только перестают отвечать императиву всеобщего блага и спасения? Бывают минуты, когда гражданский долг не упрячешь в солдатский ранец. Пример французского полковника, сбжавшего от своего законного правительства в Англию и отсюда призывавшего к мятежу, – другим

1. Бодался теленок с дубом, стр. 181-205.

2, 3. Там же, Приложения, Открытое письмо Секретариату Союза Писателей РСФСР от 12 ноября 1969 г., стр. 541.

наука. В нем — этические и юридические предпосылки состоявшегося и грядущих нюрнбергских процессов.

Неумолимы и гражданские указатели Александра Солженицына: «Кто не хочет отечеству гласности — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтобы они гнили там»<sup>4</sup>, пока не прорвутся — добавим от себя и применительно к рассматриваемым событиям — февральским гноем.

Автор воспитал читателя в высоких персоналистических требованиях, и они теперь возвращаются бумерангом к его примерным героям. Неотвязное ощущение пропущенного поворота становится художественной реальностью образа.

После своего выступления в Ставке Воротынцев «был облегчен, освобожден, стрела каленая вынута из груди» (571). Оправдано ли такое облегчение, когда решалось, говоря же словами героя, будет ли война «началом великого русского возрождения или концом всякой России» (109), а судьба армии по-прежнему находилась в руках ее могильщиков, «осененных близостью к короне»?

Человек действия и исторического долга, Воротынцев не должен бы ни испытывать подобного облегчения, ни мириться с парализующей тяжестью короны. Что предпримет герой: оповестит ли он русскую общественность или войдет в контакт с «компетентными военными», — это уже дело автора наставить на «правильный путь» своего любимца, но Воротынцев сильно проиграет во мнении читателя, если как ни в чем не бывало отправится командовать полком.

В поведении героев, а лучше сказать, в социальных приметах, его сопровождающих, наблюдается одна важная константа. Герои действуют как бы в объеме, из которого выкачан воздух и *наши речи за десять шагов не слышны*. Под «общественным воздухом» (540) Солженицын подразумевает «величайшую из сил — общественное мнение!»<sup>5</sup> — главный признак нетоталитарности прежней России, правящие круги которой, как пишет Солженицын в «Архипелаге», «все озирались и прислушивались — а что скажет общественное мнение?»<sup>6</sup>.

4. Там же, стр. 541.

5. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 86.

6. Там же, стр. 87.

И как это ни странно, именно общественного кислорода не хватает в «Августе». Его не чувствуют герои, его не принимает в расчет их программа действия. Герои словно исходят из условий иного общества, закрытого, наглухо занавешенного, вакуумного, хорошо известного романисту. В нем они совершают поступки, часто перекликающиеся с эпизодами из жизни самого автора.

Например, князь пользуется рассказом очевидца и участника самсоновской катастрофы, чтобы ослабить политических противников, ставленников враждебной ему дворцовой партии («потрепать Жилинского, напугать, напустить на него Воротынцева» (563), — Хрущев использует «Ивана Денисовича», рассказ жертвы и свидетеля сталинских лагерей, с тем чтобы прижать конкурентов и произвести выгодное впечатление на *заграницу*.

Но когда с «летучим светлым взглядом» полковник замахируется на планы войны, разработанные недалекими царскими стратегами, ему указывают на дверь. И когда писатель переходит «границы дозволенного», вскрывая причинно-следственную зависимость между Архипелагом и Ленинским Континентом, ему затыкают рот идеологические сановники режима.

В том, что поступки героев резонируют с биографией писателя, нет ничего сверхобычного. Но если «кривые» судеб совпадают, то это наводит на мысль, что они испытали на себе аналогичные силы притяжения.

Отговаривая Воротынцева от выступления в Ставке (вспомним: «Все останется так, а ты голову разобьешь»), Свечин как будто имеет в виду привычное автору общество с его кастовой раздробленностью и полнейшим бессилием человека перед *государственным устройством*, что нельзя улучшить, приспособить к историческим и человеческим нуждам, а можно лишь остановить широким гражданским неповиновением, моральным отказом от роли винтиков и рычагов, на которых покоится чугунная рука партократии.

И недаром царский генералитет по результатам и особенностям своего «естественного отбора» весьма походит на ненавистную писателю государственную администрацию, выталкивающую на всякую вышестоящую ступеньку самых бесцветных и беспринципно-послушных экземпляров предыдущей. Среди враждебных ему генералов Воротынцев не находит ни одного человеческого лица, как не находит его советский человек под черными регламентными шляпами партийно-правительственного аппарата, приветствующего его с трибуны мавзолея:

«Головой белокожей, кругло-оттянутой, как огромное куриное яйцо, генерал кивал...» (482) ;

«... землистое лицо, приукрашенное искусственными усами, долгими за щеками и для значительности изогнутыми» (558) ;

«... растрепалась его седина на бабьей голове, какой и с горшками в печи не управиться» (169) ;

«... лицо его – гладкая стенка с глухою ручкой носа, не открывающей ничего, и глаза такие же стеночные» (213)

и т.п.

Движения этих полуживых и полуреальных существ беспорядочны и хаотичны лишь на взгляд разумного офицера Воротынцева. Взгляд же романиста различает в их действиях и распоряжениях закономерность и систематичность, непреложные, как зоологическая социология:

«Если ты действовал строго по уставам, директивам, приказаниям – и потерпел неудачу, поражение, отступил, разбит, бежал – никто тебя не обвинит! и тебе не надо ломать голову, отчего произошло поражение? Но горе тебе, если ты от приказаний отступил, если ты действовал по собственному уму, по смелости, – тут тебе, пожалуй, и удачи не простят, а при неудаче сгрызут совсем» (105).

Не знаю, как на военной службе, но на «гражданке», устроенной на военный лад в описанной Солженицыным стране, где не нужно принаравливаться к прихотливой игре спроса и предложения, маневрировать капризным экономическим рулем и улаживать избирателя, а можно только отдавать или исполнять приказы-планы, советский человек ежедневно подвергается процессу роботизации со стороны полностью роботизированной номенклатуры, этого сплошного, безликого, скользкого и тягучего месива начальников, склеенных в круговой поруке страха, недоверия, тупости, какими мы видим их на страницах солженицынских произведений.

В военно-оперативных разработках «Августа» есть фраза: «А только на карту глянув, сразу можно было понять...» и т.д. (82) или почти такая же: «Глянув на карту, мог бы понять (...) гимназист...» и т.д. (195). И действительно, даже неискушенному в военном деле читателю все становится сразу ясно. Они же, генералы, продолжают упорствовать в заблуждении, обрекая на верную смерть вверенные им войска.

Скуратов не верит в столь гротесковое и поголовное слабое русское командование, и, исторически говоря, он, вероятно, прав<sup>7</sup>. Но у художника свои резоны. Этими фразами Солженицын регистрирует абсолютную несовместимость простейшей человеческой мысли и понятий начальника, абсолютную некоммуникабельность человеческого и начальнического языков и миров.

Из портретной галереи золотопогонных гомункулусов выносите странную дилемму. Или Советская Россия — прямое продолжение царской по линии правящего класса, и тогда стране было нечего терять и незачем нынче проклинать революцию. Или же в романе произошел п е р е н о с черт одной эпохи на другую.

Образам и эпизодам, уходящим корнями в будущее, можно было бы посвятить целое исследование. Мы останавливаемся на тех, что содержат автобиографическое зерно. И в частности, — на отношении Свечина к Воротынцеву, потому что оно напоминает нам отношение самого автора к своему товарищу по ссылке Митровичу («Архипелаг ГУЛаг», часть VI, гл. 3,6).

Митрович боролся с партийными властями продажной и нищей провинциальной глуши. Они держали в степях незаприходованные совхозными ведомостями «личные» стада, покупали детям аттестаты зрелости «за барана»<sup>8</sup>. Ссылный Солженицын писал в то время втайне от всех книги, которым предстояло потрясти мир, и он считал это занятие поважнее сражения с ветряными мельницами, которое затеял его друг Митрович. Со свечинским сожалением и сочувствием наблюдал автор неравный и «безнадежный бой»<sup>9</sup> Митровича: «Вся его возможная победа не уравновешивала того нового ареста, который мог быть ему расплатой»<sup>10</sup>, и Солженицын, по собственному же признанию, «нисколько ему не помог»<sup>11</sup>, чтобы не сорваться и не загубить свой писательский труд.

Кроме того, выступать с «Лениным на устах»<sup>12</sup>, как это делал честный коммунист Митрович, значило бы признать за противником привязанность к чему-то более возвышенному, чем простое феодальное право владычить над тучными стадами и голодными подданными.

7. См. рецензию «Писатель Солженицын и профессор Серебряков» в сб. «"Август" читают на родине».

8. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 452.

9, 10. Там же, стр. 453.

11, 12. Там же, стр. 452.

Но ведь и выступление Воротынцева в Ставке предполагало в слушателях искреннюю озабоченность судьбой отечества, что было для них тоже большой честью, потому что Воротынцев не допускает в противнике ничего, кроме патологической твердолобости, шкурного карьеризма и неспособности предвидеть отдаленные последствия своего упрямства (последствия, заметим, не столь уж и *отдаленные*: стать через несколько лет шоферами парижского такси).

И поскольку Воротынцев знает цену своей аудитории и Жилинского про себя величает Живым Трупом, его выступление в Ставке должно озадачить читателя-рационалиста. То есть речь Воротынцева интересна как выступление исторического резонера, объясняющего с указкой в руке течение и упущенные выигрышные варианты крупной битвы, но противоречит драматической логике произведения.

Чрезмерно доглядчивый и непогрешимый анализ Воротынцева наступает на пятки событиям романа и заносит героя за «границы дозволенного». Границы, что прочно сидят в человеке любой эпохи и делают его человеком своей эпохи. Границы, что сужаются и расширяются от страны к стране, от эпохи к эпохе, от режима к режиму.

В свободных краях они, например, позволяют марксистскому журналисту увязать тяжелое экономическое положение с органическими пороками капитализма и с его мировым кризисом.

В тоталитарных — разрешена только критика отдельных недостатков, которых можно коснуться, лишь «приняв на себя исходные пути»<sup>13</sup> идеологии, лишь признав разумным и прогрессивным общий порядок вещей и добрую волю ответственных за него лиц. Недостаток позволено толковать как прискорбное отклонение от нормы, противоречащее *всему строю нашей жизни*, и разъясняется он недобросовестностью низовых и средних чиновников, укрывших его злонамеренно от лица высокопоставленного. Раз в 10–20 лет высшее лицо покидает сцену, и все недостатки списываются на его счет. Генеральная уборка восстанавливает девственность системы и отправную безошибочность нового курса.

Принять эти правила как «границы дозволенного» и не пытаться вырваться за красные флажки — значит и быть советским либералом и рассуждать, как рассуждает Свечин:

13. Там же, стр. 544.

«Нет, Егорий, ДЕЛАЮТ – делатели, а не мятежники. (...) Бесмысленно с властями воевать, надо их аккуратно направлять. Нигде ты не можешь быть полезней России, чем здесь. Тебя отсюда выгонят – пришлют другого, хуже. Зачем же?» (553)

Ирония над избитым аргументом и вечным оправданием советского либерала-«соучастника» настолько прозрачна, что ее улавливает даже самый наивный читатель в стране Солженицына.

Но ведь в том, как бросился мятежный Воротынцев к стопам великого князя, тоже сказывается типично советский рефлекс, ставка на неиспорченность и мудрость поднебесного лица:

«Верховный главнокомандующий всех войск великой России, строгий, умный, доступный убеждению – один на всех сидел через стол от Воротынцева, без помех от советчиков, жадный к его единственным новостям! (...) Очевидно, к этому вершинному мигу и вела его вся предыдущая служба» (546).

Редкий из нас, соотечественников романиста, не мечтал в начале шестидесятых годов о встрече один на один с Хрущевым. Мы то уж сумели бы втолковать ему, что ошибается он союзниками, что поющая ему осанну и мешающая у него под ногами свора аппаратчиков – его злейший враг, что напрасно разделявает он пождановски писателей и художников, что нет у него иного выхода, кроме глубокой и последовательной десталинизации, демонтажа по кирпичику государственного здания *демократического централизма*...

Эта надежда сохранилась в нас как пережиток сталинского культа, и вплоть до «нормализации», до разгона «Нового мира» не развеялась вполне иллюзия, что поднебесное лицо чем-то выделяется из окружающих его гоголевских рож, что достигнув высшей, монархической, в сущности, власти, ему уже незачем ловчить, изворачиваться, злодействовать, и оно готово позволить себе чуткость к запросам времени и страны.

То, что монархическое упоение Воротынцева – сродни советскому либеральному порыву и оба прячут под собою старинное авторитарное либидо, – предположение с высокой степенью вероятности. Воротынцева должно было постичь такое же разочарование в князе (смещенном вскорости с поста), какое постигло самого Солженицына в Хрущеве. В «вершинном миге» воротынцевской карьеры запечатлен, думается, политический *фантазм* автора,

его неудавшееся призвание философа, советника при «строгом, умном, доступном убеждению» просвещенном деспоте. И отголоски этих грез еще слышны в «Письме вождям» (1973 г.).

Какие выводы извлечет для себя Воротынцев из всего случившегося с ним, вернется ли он, как река после весеннего разлива, в узкие берега «дозволенного», станет ли послушно-полезным Свечиным или же навсегда выйдет из берегов осознанной необходимости, как его создатель, — покажет будущее.

А пока что, в «Августе», Воротынцев и Свечин соответствуют двум архетипам советского либерализма 60-х годов, обитавшим порознь, в разных людях, или в одном и том же человеческом характере. Не случайно сам автор повторяется и в Воротынцеве, и в Свечине.

И оба архетипа: прагматик-реалист и бунтарь, борец за правду, — одинаково бесперспективны и непродуктивны в романе.

Я говорю «в романе», потому что в шестидесятых годах, откуда они взяты, у Воротынцевых не было особого выбора. Они не располагали возможностью спасти страну, и им оставалось и остается не загубить душу. Воротынцевы шли к своему логическому пределу. На разрыв с постылой, не поддающейся исправлению действительности. Их ожидал процесс, имя славное, Сибирь и изгнание. И было бы несусветной пошлостью предьявлять им критерий целесообразности и рентабельности.

По-другому сложилась жизнь их бывших друзей и союзников. С лучшими намерениями поднимались Свечины по служебной лестнице, рассчитывая в надлежащий момент стать Дубчеками. Но момент этот отдалялся, и чтобы сохранить в себе Дубчека, они все больше превращались в Гусаков, теряя связь с реальностью, способность к здравому суждению, теряя меру добра и зла и деградируя от измены к измене.

Как бы в награду за стойкость и мученичество, Солженицын пожелал перенести Воротынцева в эпоху, когда многое еще зависело от человека. Он помещает его среди патриотов и каменщиков истории. И Воротынцев легко усваивает их нормы и правила. Подобно всем представителям *нового класса*, герой демонстративно аполитичен, ибо политика есть сваливание вины и ответственности на Другого. Полковник стремится самолично «воздействовать на историю отечества», напряжением своей конструктивной воли «толкать его, непричисанное, куда ему лучше».

Но очутившись в золотом веке свободы и гражданской актив-



ности, герой обнаруживает манеры и привычки, обретенные в «иной жизни». Чтобы они не слишком выпирали из исторического кадра, автор «советизирует» заключающий героев социальный объем, откачивая из него «общественный воздух» и сгущая его гнет.

Социальный фон романа образован из разных элементов вчерашнего и сегодняшнего происхождения. И поведение героев не адекватно ни тем, ни другим. Воротынцев не идет так далеко, как шел сам Солженицын, потому что в этом нет необходимости в прежней нетоталитарной России, где вклад человека в историю предусматривается автором положительным, а не политическим и революционным.

И Воротынцев не действует, как свойственно действовать ответственному и полному решимости человеку в царстве «неограниченной» или авторитарно-упорядоченной свободы, если он хочет удержать страну от гибели. Опыт «иной жизни» помогает ему предчувствовать гибель, узнать о ее приближении, то есть услышать *будущего зов*, но не содержит, по всей видимости, тех «знаний» и того гражданского умения, которые необходимы для предотвращения катастроф.

## 15. АГНЦЫ, МЫШИ И СЛОНЫ ИСТОРИИ

Позитивные герои реализуют себя в «Августе» двояко. Одни — в *исторических разговорах* с революционерами, заметно уступающими им в искусстве убеждения и в авторской симпатии. Другие реализуются в действии, в социальном поведении. И тогда — под офицерской шинелью образца 14 года читателю открывается психологическая фигура советского либерала.

Проходя по ковровым дорожкам штабного вагона, герои испытывают на себе те же самые силы пригвождения, что познал автор, вышагивая по коридорам советских учреждений, куда он отправился защищать туземцев Архипелага на гребне своей скоротечной славы обласканной партией и выдвинутого на соискание ленинской степени писателя:

«Переступая их мраморные назеркаленные пороги, всходя по их ласковым коврам, я должен принять на себя исходные пути, шелковые нити, продернутые мне через язык, через уши, через веки, — и потом это все пришито к плечам, и к коже спины и к коже живота. Я должен принять по меньшей мере:

1. Слава Партии за все прошлое, настоящее и будущее! (...) Я не смею усомниться в необходимости Архипелага вообще. И не могу утверждать, что "большинство сидит зря".

2. Высокие чины, с которыми я буду разговаривать, преданы своему делу, пекутся о заключенных. Нельзя обвинить их в неискренности, в холодности, в неосведомленности (не могут же они, всей душой занимаясь делом, не знать его!)»<sup>1</sup>

Уже твердо зная, что «распустивши Архипелаг, режим и сам перестал бы *быть*»<sup>2</sup>, Солженицын, взойдя на официальные подмости, соглашается *для пользы дела*, для облегчения участи заключенных исполнить либеральный менуэт.

1. Архипелаг ГУЛag, т. 3, стр. 544-545.

2. Там же, стр. 531.

Но чтобы уберечься от роботизации, автор отделяет от себя, выносит за черту своей личности четко работающий в нем поведенческий механизм, механизм гомо советикуса. Он воспринимает и подает его в виде внешних пут, ответственных за виртуозность движений, за превращение его в марионетку.

В третьем томе «Архипелага», откуда взят отрывок, набирается целая коллекция ощущений несвободы в тоталитарном мире. Это и «физическое поле»<sup>3</sup>, где «всякий внесенный заряд или масса легко сдуваются в сторону тирании»<sup>4</sup>, и вышеприведенные нити марионеток, и «светлое пятнышко»<sup>5</sup> духовной независимости, пропадающее без следа в густом «тесте»<sup>6</sup> действительности.

Напор социального давления — сильнее личности. Человек исчезает в общественном замесе, не оказав на него заметного просветляющего воздействия, но с некоторых пор он уже не абсорбируется и не разлагается в общественном тесте. Личность выпадает из него нерастворимым осадком, остается в активно-взвешенном состоянии или в качестве меченого атома нарождающейся независимой совести. И путь его прослеживается экраном самиздата, иностранной радиоволной или бранью государственных масс медиа.

Для всех ощущений несвободы в публицистическом «Архипелаге» общим является то, что они *экстерьеризированы*, вынесены за пределы себя. И освободившись от них, личность, в свою очередь, выталкивается, эвакуируется за пределы идеологически однородной среды. Личность и «силовые линии»<sup>7</sup> неволи — внешни друг другу.

Совсем по-иному выражена несвобода в романе. Здесь происходит процесс, обратный рассмотренному. «Силовые линии» врастают в личность и становятся внутренним вектором социального поведения Воротынцева и Свечина. Личность «возвращается» в среду, сливается с ней.

И самый значительный и наглядный пример такой *интерьеризации* внешнего гнета — образ «семипудового агнца» (394) генерала Самсонова.

3, 4. Там же, стр. 514.

5, 6. Там же, стр. 453.

7. Там же, стр. 514.

Командующий армией Самсонов (мы подключаем к исследованию третий персонаж) был бескорыстным и честным патриотом и солдатом, хотя его оружие и несколько заржавело во время длительного пребывания на высоких постах военной администрации и хотя «были пределы, которых генерал Самсонов не разрешал себе переступить и в мыслях» (79). В отличие от Воротынцева, «он не смел судить императорскую фамилию, стало быть и Верховного главнокомандующего. И высших интересов России он также не смел истолковывать своевольно» (79).

Тем не менее Самсонов отдает себе отчет, что поражение снова породит «в России смуту, как после японской войны» (422), и что стоящий над ним «главномещающий» Жилинский – злостная бес-толочь. Жилинскому противник чудился там, где его не было и не могло быть. И он посылал самсоновскую армию в пустоту, подставляя ее фланги под вражеские клещи. В силах Самсонова было вызволить армию из беды, его положение давало ему достаточную свободу маневра. Для этого нужно было отказаться быть простым исполнителем приказов Жилинского. Стряхнуть с себя свору вцепившихся и болтающихся на его грузном теле штабных, рутину армейского бюрократического ритуала.

И Самсонов порывался сделать это, подстегивая себя на решительный шаг: повернуть войска, вопреки установке сверху, лицом к реальному, а не химерическому противнику и вызволить армию из сжимающихся клещей.

Он порывался, покрывался испариной, откладывая на завтра, но... так и не собрался. Глыба рутины, ритуала и субординации оказалась слишком тяжела для «затруженного, медленно-го» (113) Самсонова. И он, не будучи в состоянии сбросить ее, ассимилировал ее вес, *интерьеризировал* ее давящую грудь «массой тела своего» (157), своею безвольной тушей «семипудового агнца». Она и сделалась материальным выражением его несвободы.

Оболочку Самсонова раздуло бремя непосильного груза и ответственности. И душа его возжелала «освободиться от тела» (429), покинуть его, как покидает бабочка спеленутую куколку. Опустившись на колени в обложенном неприятелем лесу, Самсонов пускает пулю в лоб, чтобы предстать перед Всевышним единственным и кающимся виновником разгрома, вобравшим грехи и просчеты всех.

В «Теленке» Солженицын раскрывает прообраз Самсонова. Им был большой русский поэт, советский классик и вельможный

член ЦК хрущевских времен. Отстраненный от руководства «Новым миром», Твардовский недолго пережил свое детище, оплот либерализма и демократическую перспективу страны. Искренний коммунист, он и в мыслях не разрешал себе переступить некоторые пределы. Его вера в справедливость и трансцендентность Идеологии сродни горячему и безвольному упованию Самсонова на «замысел Божий» (421).

Перекрестив Твардовского в гробу на пышных и лицемерных официальных похоронах, Солженицын придал им трагический, обвиняющий и высвобождающий смысл самсоновской кончины.

Воротынцев и Самсонов — максимум и минимум полезного энергетического потенциала, отпущенного автором своим *позитивным* персонажам. Воротынцев, которого судьба свела с Самсоновым и объединила взаимной симпатией, как Солженицына с Твардовским, ничем не напоминал одутловатого, осевшего под эполетами генерала. По характеру, воле, военной культуре Воротынцев вполне бы мог заменить Самсонова и любого из выводка прикрепленных к тому генералов. Что он и делает, встав на место командующего корпусом Артамонова и взяв на себя всю полноту власти. Но власть напомнила о себе телефонным звонком сбежавшего с поля боя Артамонова, его приказом об отступлении в тот момент, когда противник, исчерпав свои силы в бесплодных атаках, готов был покатиться от ответного удара.

В такое же положение попадает и другой талантливый военный, генерал Мартос. «Худой, подвижный, острый» (257), похожий скорее на университетского нудного профессора (настоящие военные, за исключением крепкого, упругого Воротынцева, — прямая противоположность осанистым кретинам в лампасах), Мартос не дал застать себя врасплох и блестяще отбил ночное нападение противника. Но ему не удалось развить успех. Бежавшая армия смыла его победу, оставив его без припасов и людских резервов. И Мартосу пришлось сдаться в плен со своим обескровленным, героическим корпусом.

Не повезло и *положительному* генералу Нечволодову, пытавшемуся прийти на помощь самсоновской армии и разорвать окруже-

ние<sup>8</sup>. Он был отозван, когда уже начал осуществлять этот замысел.

Итак, одни герои имеют возможность повлиять благоприятно на ход событий, но не имеют ни компетенции, ни воли, ни выдержки, ни, попросту говоря, головы на плечах. Другие – полны решимости, энергии, способностей, но не имеют на это полномочий. И ни разу в «Августе» не складывается выигрышная комбинация, позволяющая отхватить банк военно-полевой фортуны.

При всей разнице темпераментов, чинов и волевых качеств Самсонов, Воротынцев, Свечин, Мартос, Нечволодов – неудачники истории, ее объекты, а не творцы. Если «Самсонов чувствовал, что он – не действитель, а лишь представитель событий, они же утекают по себе сами» (85), то и Воротынцев «не мог вмешаться в события, и уж казалось: останься в Ставке – успел бы больше» (215). Все как один герои – жертвы обрушившейся на них слепой, детерминированной, неуправляемой стихии.

Характерно, что призывы к историческому активизму, в которых в романе нет недостатка, вытекают не из конкретных примеров результативного участия в истории (их в романе почти нет), а из удручающего перечня упущенных возможностей, из насмешек над пассивной верой в Высшее заступничество, из злосчастного телефонного звонка, подрубившего на корню успех операции, и других аналогичных приказов. Всего этого, как бы хочет сказать автор, могло и не быть, найдись в подходящем месте и в подходящее время разумная, организующая, целеустремленная воля. А когда таковая находится, то носителя положительного заряда сбивают с ног непредвиденные, но непреложные, ничего не желающие знать обстоятельства. Положительный заряд обязательно нейтрализуется отрицательным.

Удивляться такому устрашающему стечению роковых обстоятельств значит забывать, что «Август» – документальное произведение, а не вольные вариации на историческую тему. И события его известны наперед. История простерла над автором, режиссером эпопеи, черные крылья: нескончаемые военные потери, две революции, гражданская война, лишение культурного и матери-

8. Разумеется, в «худощавом, длинноногом» (161) Нечволодове не было «обязательного генеральского величия – раздавленной груди, разъеденного лица, самодостоинства» (161). Солженицын верен своей антропоморфологии.

ального наследства отцов, истребление цвета и совести нации. От всего этого никуда не денешься, историю не перепишешь заново и набело. Волей-неволей приходится писателю отстранять залпы от влекомой цели, уводить их за черту досягаемости, лупить в «молоко».

Все это так. Но к чему тогда моделировать безупречное историческое поведение, уверять, что все во власти человека, в то время как от человека в романе ровным счетом ничего не зависит, а зависит от благоразумия неразумного царя? К чему погружать полотно в свинцовые *рабинские* тона тотальной обреченности и внушать себе и нам, что изображено царство свободы?

Но стоит ли ставить вопрос ребром? Если бы Солженицын осознавал это противоречие, он бы его не допустил. Впрочем, чужая душа — потемки. Где можно — осветим ее лучиком анализа, где нельзя — разведем благодушно руками.

Конечно, автор рад бы всей душой дать событиям другое направление, подцепить их к локомотиву победы и пригнать к вожделенному эпилогу. Однако выбрав тему и эпоху 14 года, он поставил эпический локомотив на привычные психологические рельсы: готовность к худшему, примиренность с ситуацией, где поражение задано с самого начала, где поражения, нанизываясь друг на друга, спиралью спускаются в жерло ада. Стремление к утерянному раю не есть ли симптом подспудной стратегии краха?

Характер пут, в которых бьется стреноженная воля романиста, для нас уже не составляет секрета. Религия окостеневшего государства: исторический детерминизм, разумность преступной и неприступной действительности — вызывает у автора острую и неутолимую потребность осмысленного и полноправного действия, заносит его копые над драконом необходимости.

Но уроки российской истории, политическое и революционное своеволие его предшественников, подорвавшее несовершенный, но человеческий и естественный строй жизни и превратившее страну в анатомический театр, где седьмое десятилетие подряд проводятся эксперименты над телами, сердцами и мозжечками населения, — все это диктует крайнюю осмотрительность и осторожность его демарша. Копье застревает в воздухе или поражает пустоту.

Наконец, длинная школа жизни, экзистенциальный багаж романиста не содержат примеров положительного воздействия на историю и мало способствуют художественному воссозданию от-

важного исторического акта. Романист безотчетно избегает ситуации, в которой его герои могли бы, как говорилось в старину, поспорить с бурей, своим весом, толчком, упрямством склонить в желанную сторону непослушные весы истории. А уж вступив в поединок, они непременно расшибают лоб о какой-нибудь колдовской барьер, словно из-под земли вырастающий перед ними.

Как в эротическом сне, где что-либо да мешает в последнюю минуту осуществиться неотвязному желанию, так и героям всегда что-то препятствует совершить целенаправленный акт или довести его до конца.

Исход событий зависит не от них, а от внешних обстоятельств, от слепой исторической стихии, благоприятствующей, кажется, одним силам зла. Герои – пешки чужой и зловещей шахматной игры, полем которой служит территория Пруссии и России. Они не способны преодолеть ее упрямые правила, с которыми автор не устает на словах сражаться.

Он помещает героев в другую историческую эпоху, открывает специально для них *иную жизнь и берег дальней*, но они как будто не чувствуют послабления, не в состоянии избавиться от родного земного притяжения и тоталитарных колодок.

А. Зиновьев вкладывает в уста своих бесконечно беседующих обо всем на свете персонажей такой разговор о Солженищине:

«Последняя книга Правдца, сказал Ученый, ошеломляюща. (...) Ужасно, конечно, что есть много людей, способных делать зло и имеющих для этого все возможности, но еще ужаснее то, что мало таких, которые способны делать добро и имеют для этого хоть какие-то возможности. Настоящий ужас не в том, что есть отклонения от нормы, а в том, что есть норма, с необходимостью рождающая эти отклонения. (...) Констатировать убийства, насилие, террор и все такое прочее и назвать виновных – это, конечно, акт величайшей важности. Но меня интересует другое, а именно – ужас ситуации, в которой никого не убивают, а делают нечто более страшное: не дают людям, способным стать Человеками, стать ими. (...) В книге Правдца приводится много примеров, когда активность даже нескольких людей давала эффект. Какой, спросил Болтун. Материал для книжки – да. Все равно это допороговые явления. Исторически их нет и не было. Короче говоря, если ты мышшь и недоволен этим, то что ты предложишь мышам для того, чтобы стать слонами?»<sup>9</sup>



В этом отрывке речь идет не об «Августе», а об «Архипелаге». И даже не о самом «Архипелаге ГУЛаг», а о писательской акции Правдеца-Солженицына. Она — вызов всем законам и нормам социального поведения, которые Зиновьев извлекает из жизни соотечественников, а также мышей и крыс в подопытном *крысарии*. Она настолько исключительна, некалфицируема, что, можно сказать, неуместна в обществе, где прогресс совершается с геологической скоростью («миллиметр в сто лет»<sup>10</sup> — по вычислениям Зиновьева).

Вынося Правдеца за порог целесообразности, философ лишь выказывает восхищение писателем в свойственной ему парадоксальной и ернической форме. Но в известном смысле он прав. Солженицын асоциален и вреден обществу. На его обуздание растрачивается слишком много полицейской энергии, и дубинка начинает гулять по головам, не разбирая ни правых, ни виноватых. От гиганта, опутанного по рукам и ногам, невелика полезная отдача. А сила примера и вовсе проблематична, когда его, перевязанного, высылают наподобие почтовой бандероли за границу.

Если такова участь слона, говорим мы себе, то нам, мышам, тем более нечего рыпаться. На всех нас не хватит ни гения, ни издателей, ни мировой славы, ни всемирной поддержки, ни кафедр советологии в западных университетах. Мышам не выбиться в слоны. Такая мутация не снилась ни Зиновьеву, ни Лысенко. Дубинка лишь сделает из нас озлобленных крыс...

Но настоящий «ужас ситуации» в том, что закон общественного бессилия и правила социального смирения, попранные Солженицыным в условиях крайней неволи, преподносятся в «Августе» как некий моральный кодекс передового героя, получают право на жительство в сюжете, порвавшем, наконец, с проклятой действительностью, где автор дорвался, наконец, до свободы, вышел на ее безбрежный и долгожданный простор!

Мышь всегда помнит, что она мышь. Слон может и забыть, что он слон. Положив жизнь на то, чтобы доказать свое слоновье достоинство и выбраться из *крысария*, он, вроде бы, не знает, как распорядиться своею победой, оказавшись в джунглях «неограниченной» свободы. Он беспрестанно трубит о мышьи опасности, видит во всем происки мышей и крыс и, отчаявшись быть

10. Там же, стр. 259.

услышанным на безумном и «инфантильном Западе»<sup>11</sup>, ждет с замиранием сердца их нашествия.

А вдруг чутье не подводит писателя и они уже близко, у самых городских ворот?!

11. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 461

## 16. ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ

Склероз воли, сковавший души прекрасные порывы режиссера и героев романа, — несомненно советского происхождения. Но я уже слышу со всех сторон возражения, что не обязательно, дескать, родиться в России, чтобы испытать на себе удары песта, дробящего личность в ступе современного атомизированного общества.

Что новейшая история не изобилует примерами подвижнической деятельности и редкие исключения лишь подтверждают унылое правило. Что демократия пребывает в моральном, социальном и экологическом тупике. Что лейтмотив мещанского оптимизма: «авось, пронесет! авось, образуется, авось, трансформируется!» — и потуги любой ценой сохранить призрачное, отравленное благополучие деморализуют живые силы пока еще свободных наций, мешают пересмотреть им психомоторные цели самоистребляющего развития.

А поиски альтернативы, убежденность в необходимости и неотложности истинного социального творчества заторможены кровью русского эксперимента и отпугивают тоталитарным искушением не только Солженицына и его героев...

Со всем этим кто же станет спорить? Мы действительно обитаем в мире, который или ампутрует, или превращает в дряблые декоративные отростки крылья большой исторической судьбы. Но рассуждая в этом духе, мы выплываем, в сущности, к совсем иной проблемной пристани: к смерти романа в XX веке, к онтологическим причинам его упадка, о чем уже в достаточной мере говорено и переговорено.

Грандиозный романический замысел писателя идет наперекор литературному течению столетия. И его эпический мастодонт страдает всеми слабостями гигантизма. Лично я, что тут скрывать, предпочитаю ранние вещи Солженицына: «Раковый корпус», «Матренин двор», непревзойденного «Ивана Денисовича». И избранный мною метод, анализ идейно-психологических структур, предназначенный для произведений достаточно схематизированных и поли-

тизированных, сломал бы зубы об эти жемчужины. Мне также думается, что тема солженицынского человека, пытающегося в условиях действительности, побившей, как говорит писатель, все рекорды бесчеловечности, удержаться, не дать загасить в себе то, что он называет «Божьим огнем», — не истощена им и наполовину. И три тома «Архипелага», помимо своих признанных гражданских и исторических достоинств, — еще и необъятные литературные залежи, записные книжки к этой теме.

По выходе «Августа» ряд французских критиков (принадлежащих, уж не знаю, по случайному или неслучайному совпадению к одной политической тенденции) заговорил с неискренним сожалением или плохо скрываемым удовлетворением о закате солженицынского дарования.

Не желая участвовать в комиссии по выдаче пропусков в бессмертие, я все же не могу не признаться, что мне ближе и доступнее (и, очевидно, не мне одному, если судить по сдержанно-вежливым откликам на книгу даже безоговорочных почитателей романиста) солженицынский герой в своей исконной обстановке лагеря, шарашки, ракового корпуса. Съемки с природы у писателя удачнее съемок в павильонах, где застопорилось и обречено на провал проворное историческое действие.

Но разговор не о том. Выбор темы и жанра — акт столь же суверенный и священный для художника, что и сам творческий процесс. И первый том при всех своих недостатках остается красноречивым и незаменимым документом эпохи.

Вот только какой эпохи, нашей или 14-го года? Оговоримся сразу же. Обилие актуальности в историческом произведении никак не снижает, по нашему разумению, его ценности. Любой исторический роман обнаруживает несколько геологических пластов, в том числе и недавний. Сменяющиеся поколения, рассматривая ушедшую пору сквозь призму собственных представлений, углубляя или отмечая предшествующие толкования, неизбежно оставляют на искомом событии свои духовные следы. И по ним идет писатель поступью своей эпохи.

Приближаясь к кризисному, переломному участку истории, он старается восстановить разрыв исторической непрерывности, «склеить двух столетий позвонки», как писал О. Мандельштам. Но тут не все зависит от художника. Решить эту проблему исчерпывающим образом удастся не раньше чем исчерпал себя кризис, не раньше чем он разрешился сам по себе в ходе исторической практики.

Ничего нового мы здесь не открываем. Стоило бы, может, добавить, что когда срastaются позвонки перебитой общественной памяти и сознания и проблема теряет жгучую актуальность, тогда наступает другой неминуемый разрыв. Этнографический и социально-психологический разрыв с прошлым. «Верное» понимание его общего смысла, соединение фрагментарных, расколотых представлений в единое целое сопровождается, увы, утерей чувствительности к историческому материалу. Он затвердевает и становится непригодным для художественной манипуляции, тем более претендующей на реализм изображения. Тогда и появляются на страницах исторической прозы наши с вами современники, одетые в камзолы, мантии и мундиры эпохи, терпеливо и доходчиво толковывающие окружению сущность текущего момента с высоты заднего ума...

Хотя Солженицына, как и Толстого в «Войне и мире», всего полстолетия отделяло от описываемых событий, для автора эпопеи промелькнувшие годы стали археологической дистанцией, ведь «с тех пор сменился состав нации, сменились лица, и уж тех бород доверчивых, тех дружелюбных, неторопливых, не себялюбивых выражений уж никогда не найдет объектив» (355). Эту-то неведомую, еще до его рождения осужденную на слом цивилизацию, с которой оборваны нынче все живые связи, все кровеносные сосуды, и предназначено воссоздать романисту.

В «Августе» Солженицын возложил на себя поистине титаническую задачу. Все, что опубликовал он до сих пор, было пережитым, пропущенным через зрачки и сердечную аорту. Исключение составляет «Свеча на ветру», но это камерный этюд, отстраненный к тому же от какого-либо конкретного жизненного уклада.

Для написания эпопеи он выбрал, если можно так сказать, самый неподходящий момент, когда материал уже совершенно затвердел, а кризис еще всюю бушует на поверхности земного шара. Склоним головы перед его писательским подвигом, но и не станем унижать ни его, ни себя бездумным принятием на веру всего, что выйдет из его пера.

Собрать каталог неточностей, ляпсусов, анахронизмов и советизмов было бы не так уж сложно, хотя очевидцев в русской эмиграции осталось мало и они без особой охоты показывают против Солженицына<sup>1</sup>. Что и понятно: впервые в литературе мирового

1. См. рецензию Романа Гуля в «Новом журнале», № 104, 1971.

калибра их вывели не обломками истории, не эксцентричными княгинями, швыряющими хрусталь об пол, не колоритными шоферами парижского такси, а правдоподобными и милыми людьми, перенесшими крушение Помпеи.

Но даже и самые горячие поклонники романиста не преминут заметить в частном разговоре (упаси Бог, для печати!), что солженицынские офицеры совсем не похожи на «моего отца штабс-капитана и его товарищей», что сцену грабежа немецкого города русскими солдатами автор, должно быть, списал со своих однополчан (поэма «Прусские ночи» выявляет обоснованность этого предположения). Что профессору университета немислимо было по тем временам и нравам делить пиво-воблу со студентами в трактире, а сами студенты (это уж наше, советское наблюдение) смахивают на рабфаковцев.

Перечень можно было бы пополнить за счет мемуарных и исторических источников — не станем перебивать хлеб у историков. Но такие промахи удручают лишь тех, кто свято верит в идентичность позднейших литературных реконструкций историческому оригиналу. Доля здорового скептицизма при знакомстве с хрониками матушки Клио уберезет нас от неизбежного и несправедливого разочарования. Другое дело, если за достоверность исторической, как, впрочем, и всякой прочей прозы, принимать ее внутреннюю обоснованность и органичность, связность и убедительность изложения, оплодотворенного талантом, чутьем, тактом и жизненной мудростью писателя.

А что в ней от описанной эпохи, что от эпохи написания, — разобраться чрезвычайно трудно. И не в том наша задача. Задумав проследить единство художественной модели «Августа» и идейного мира писателя, каким он встает в чистом виде из статей и «Архипелага», мы сознательно ограничили область исследования злободневным пластом содержания.

Зондируя его, мы установили, что типология положительных героев — насквозь современна. Что вместе со своими психологическими структурами они волокут в роман глыбы придавившего их социального бытия и ощущение «своего» исторического момента.

Момент этот характеризуется полнейшим окостенением системы (царское начальство дублирует это состояние), окончательным омертвлением ее эволюционных способностей. И необратимым расколом между государством и интеллигенцией, вчера еще

верным и бескорыстным «коллаборантом» режима.

И поскольку такой раскол уже произошел раз в России и не принес ей ничего, «кроме путаницы, горя и запредельных жертв»<sup>2</sup>, герои романа, *прилежные* ученики истории, не желают поддаваться революционному и политическому соблазну.

Тогда как их советские прототипы храбро идут на раскол, чтобы спастись от омертвления и спасти от него страну, сохранить плацдарм, остров свободы, откуда начнется когда-нибудь ее духовное завоевание, герои романа — пассивные созерцатели событий, *лишние люди* политической и гражданской реальности произведения, неподготовленные к жизни в «нормальном» обществе.

Их создателю известно лишь только революционное и либеральное (в советском смысле этого слова) участие в истории. И третий путь, какая бы ни была подведена под него идейно-этическая база, оказывается на практике одной из двух наезженных дорог. Но автор страшится одной, не верит в другую, и эта другая никуда у него не ведет...

Роман передает лаокооново усилие Солженицына выбраться из бункера монолитной идеологической традиции, пробиться сквозь его толщу к воздуху и свету русской культуры и занять свое место в рядах остального человечества, не прекратившего исторического марша во время русского заточения.

Гароди оплакивает африканские цивилизации, перемолотые и обезличенные тремя веками европейского колониального господства. Но некому оплакать национальные уклады (узбеков, чукчей, азербайджанцев, китайцев, корейцев...), перемолотые за три тоталитарных десятилетия, а по нынешним скоростям (в Камбодже) — и вовсе за три года.

Где, когда, какой Солженицын раскроет им глаза на невосполнимую утрату? В каком акте их собственной трагедии предусмотрен его выход на сцену и какие условия необходимы для этого таинственного и спасительного появления? — вот проблема, которая для них гораздо важнее схоластического диспута об историчности исторической литературы!

Среди профессиональных плакальщиков Европы тщетно искать горящих по судьбам этих народов. В лучшем случае обсуждаются их шансы на построение «демократического социализма», что для Солженицына *кипящий лед* или *веселые похороны*. Но уже находятя трезвые головы, способные осознать, что народы, утерьяв-

2. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 97.

шие душу, обычай, веру, нравственное наследие и волю (узурпировавшее ее руководство деградирует еще быстрее подвластного населения), — такие народы не то что не готовы к какой бы то ни было демократии, включая и неведомую нам «социалистическую», но таят в себе реальную угрозу оставшимся на планете самобытным цивилизациям, располагающим, как сказал Зиновьев, «хоть какими-то возможностями» свободы.

Солженицын занимается в известной мере их спасением, пробуждая свой народ от исторической спячки, помогая ему восстановить отшибленную память.

Эпопея утоляет его первый голод. Впервые читатель видит бывшую Россию не в символах гражданской войны и ненависти, не в прицеле идеологического обстрела. Он открывает ее как землю обетованную, как свою «историческую родину» — термин, которым советские евреи обосновывают эмиграцию в Израиль.

Машина времени относит читателя назад и делает его действующим лицом прошлого. И пусть действующие лица на самом деле бездействуют, следуя машинально за учебником истории. У них другая миссия. Они приглядываются к родному прошлому, усекают, что к чему и шлют на «большую землю» свои впечатления, которых там ждут с нетерпением. Себя они чувствуют разведчиками будущего.

И в этом сила романа, неотвратимость его успеха у русского читателя. А слабости произведения обусловлены не столько характером солженицынского дарования, сколько трудностями с ориентацией у недавно очнувшихся от летаргии. Сколько зрительными способностями общества, что всматривается глазами писателя в свое туманное и фальсифицированное начало. Сколько непродыхаемой атмосферой в доме, где свирепствует мать-мачеха, где задраены все окна и двери, кроме одной, цинично и для немногих приоткрытой в эмиграцию. Где из информационного водопровода поступает затхлая вода от застойного и отравленного хлоркой бассейна идеологии. Где свобода выбора сведена волею обстоятельств к добровольной и вынужденной роботизации или к революционному, тотальному отказу...

Свой многолетний и многотомный труд писатель вправе будет завершить теми же словами, с которыми один из персонажей «Августа», отважный артиллерист Смысловский, покидает поле сражения: «Feci quod potui, faciant meliora potentes. Сделал, что мог, а кто может — пусть сделает лучше» (194).

Если сможет.





# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



## 17. УРОКИ «АВГУСТА»

Включившись в работу над эпопеей, главным произведением жизни, Солженицын еще продолжал *отвлекаться* на другие книги. Но только ли потому, что спешил разделаться с неотложными гражданскими долгами? Не был ли страстный, распахнутый «Архипелаг» своеобразной разрядкой, душевным разговором для застегнутых на все пуговицы и нейтрально-отстраненных глав «Августа»? Исследователь «Архипелага» Клод Лефорт приветствует в нем торжество революционного духа над книжным, морализаторским и антиреволюционным *Сверх-Я* писателя, которому критик дает определение «христианского стоицизма»<sup>1</sup>. Этот «христианский стоицизм» в «Архипелаге» едва осмеливается поднять голову и пробормотать кое-какие религиозно-нравственные увещания, оставляя Лефорта в неведении о своих действительных идейно-политических параметрах.

«Да какое мне дело, черт возьми, ходит или нет Солженицын в церковь! — в сердцах говорит критик. — Не призывает же он к крестовым походам и не собирается же он засадить атеистов в кутузку! Христианизм в качестве идеологии возбуждает у него такое же омерзение, что и социалистическая идеология»<sup>2</sup>.

Если бы Солженицын не создал ничего, кроме «Архипелага», — а этого было бы, пожалуй, достаточно, чтобы навечно остаться в литературе и в истории, — мы бы охотно поверили Лефорту. Но «Архипелаг» — одна из книг Солженицына. И мы не станем судить о писателе по одному документу, как это делает, скажем, другой толкователь Солженицына, советский революционер Д. Панин, ругающий его за «Письмо вождям», за «соглашательство» и «капитуляцию»<sup>3</sup>. Панин приписывает Солженицыну черные замы-

1. *Un Homme en trop, op. cit.*, p. 219.

2. *Ibid.*, p. 42.

3. Солженицын и действительность, «La Table Ronde», Paris, 1976. Книга эта — на франц. яз., и мне сподручнее цитировать по машинописному авторскому изданию, придерживаясь здесь (стр. 36) и дальше его пагинации.

слы ликвидации, абортирования революции, которая, по мнению критика, «в СССР назрела и абсолютно необходима»<sup>4</sup>. И Панин имел бы на это право, когда бы нам не жгло ладоней от пылающих восстаниями страниц «Архипелага».

Итак, революционер в «Архипелаге», либерал в «Августе», оппортунист в переписке с правительственными органами, «пророк контрреволюции» в телевизионных и газетных интервью, как охарактеризовала Солженицына левая французская и испанская прессы после его памятной поездки по Европе в 1976 году.

Прислушиваясь к какофонии критических откликов, читатель извлечет, что Солженицын – прогрессист, бичующий общество потребления и власть чистогана. Слепой поклонник капитализма, от произведений которого «попахивает технократией»<sup>5</sup>. Заступник униженных и оскорбленных. Враг мира и социализма. Объективный пособник *вождей*, облегчающий им расправу над иванами денисовичами...

Труд Солженицына разъят на идеологические компоненты, растащен по частям. Антидемократические цитаты с остервенением клюют те, чье недавнее обращение в демократию – факт настолько свежий и невероятный, что требует постоянных о себе напоминаний и доказательств. Другие не видят в Солженицыне ничего, кроме Гулага, ставшего паролем для сонма политических дезертиров и недорослей, паролем, позволяющим им с печальным достоинством выходить из осточертевших церквей и мечетей (на что они бы никогда не отважились самостоятельно), и, устроившись на завалинке, выщелкивать заполученных на идеологической толкучке блох и наполнять ими свои ранние мемуары.

Бросая в революционный жар и в консервативный холод, Солженицын сделался настольной книгой марксистов и теоретиков чилийской хунты. Все, кому не лень, принимают его за своего и проклинают про себя или вслух «переметнувшегося» Солженицына. Умеренным изменяет умеренность, когда разговор заходит о его статьях. Левых коробит его эволюция от антисталинизма к антисоциализму. Консерваторов бесят его беспрестанные нападки на западную цивилизацию. Они опасаются, что своими скандальными заявлениями он скоро промотает политическую прибыль от Гулага.

4. Там же, стр. 47.

5. «Август» читают на родине, стр. 44.

И религиозная война, вспыхивающая, как от сухого полена, от каждой новой книги и речи Солженицына, оставляет в тени многозначный, но единый мир писателя, незаживающие переломы его сознания. Ведь практикуемое им разделение труда и души должно служить какой-то цели, и оно, безусловно, служит ей, маскируя духовный и психологический раскол. А мы, принимая всерьез одну из ролей его многогранного репертуара, невольно способствуем успеху этой операции.

Невольно, однако, не значит бескорыстно. Когда мы отчитываем писателя, как мальчишку, за грубейшие промахи и отклонения от нашей линии, когда мы закрываем деликатно глаза на его «реакционные» сальто-мортале, то заботимся первым делом о нашем с вами равновесии. Потому что и в «Августе», и в самых тревожных своих выступлениях Солженицын не делает ничего другого, как доводит до ошеломляющей, до провокационной очевидности подспудно грызущие нас противоречия и сомнения в собственной роли. Вот и приходится вытеснять из сознания, заталкивать в глубь себя этого «неудобного», «мешающего» Солженицына, относить целиком его непрерывный набатный звон к издержкам темперамента и плохо залеченного советского комплекса.

К тому же, копаясь в этой еще неизведанной области и прибегая к неизбежным политическим суждениям и выводам, легко попасть в дурную компанию: сойти за сторонника Пиночета или оказаться на одном шесте с идеологическими попугаями. Словом, достаточно причин, чтобы «обскурантизм» и «правый нигилизм» писателя оставались *terra incognita* для исследователя, дорожащего своей репутацией и боящегося утратить на конъюнктурном сквозняке фиговый листок объективности.

И даже после того, как *новые философы* саботировали все правила прежней политической игры, и нет теперь больше ни левых, ни правых, а есть *реакционная идея прогресса*, — попытка безоглядного, интегрального анализа, попытка собрать воедино разрозненные куски солженицынского сознания не больно находит энтузиастов.

Сами же *новые философы*, которым, вроде бы, и карты в руки, пробавляются, как и все мы, грешные, выборочным, селективным потреблением Солженицына. Они поднимают его на щит и гордятся близостью с ним (не без оснований: интеллектуальный бестселлер 77 года «Варварство с человеческим лицом»<sup>6</sup> откры-

6. В.-Н. Lévy, *La Barbarie à visage humain*, Grasset, Paris, 1977.

венно перекликается с августовской главой № 42, где устами писателя Версафьева излагается мысль об «иррациональности» истории). Но обильно цитируя Солженицына, резонирующего с их идеями, они обходят молчанием все, что их опровергает.

Утверждения такого рода не должны быть голословными. И мы, не считаясь со временем, сравним Солженицына с *новой философией*. Сопоставим эти очаги воспаления западной и восточной политической совести, а заодно потолкаемся на том перекрестке, где судачит, торгуется и спорит до хрипа общий рынок идей, осужденных сойтись когда-нибудь в единую духовную Европу от Атлантики до Урала.

И *новые философы*, и романист восстают против марксизма, против эсхатологических и технократических мотивов социалистической религии, отказываются понимать мораль как шлейф классово-борьбы и технологического развития. Но Солженицын расчищает выход из социализма, они же заколачивают вход в него. А методика предотвращения катастроф и спасательных работ — уже обязательно разные.

Так как Запад погружается в промышленное и анархическое безумие и его рано или поздно ждет тоталитарная смирительная рубашка, России, по разумению Солженицына, вовсе ни к чему его институционный расхлябанный образец, тем более что «за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла еще только снизиться»<sup>7</sup>.

Остановить самопожирательный прогресс и подвигнуть граждан на сознательный отказ от потребительских и демократических эксцессов удобнее всего в рамках христианской авторитарной дисциплины, одинаково полезной Москве и Риму. Но по ней ли вздыхает *новая философия*?

И Солженицын и *новые философы* согласны, что чем меньше государства содержится в государстве, тем лучше это государство. Расходятся они лишь в том, кому должны перейти его прерогативы. Для *новых философов* в этом вопросе не может быть двух мнений: их нужно вернуть ограбленным гражданам. По Солженицыну, гражданам ни в коем разе не следует брать на себя по-

7. Выписывая эти слова из «Письма вождям» (стр. 44), я вспомнил, что уже цитировал нечто подобное из другой статьи. Солженицын не ленится повторить эту мысль несколько раз.

литическую инициативу. И недаром его образцово-показательные герои в «Августе» шарахаются от политики, как черт от ладана.

Читай Солженицын по-французски, он бы причислил своих парижских друзей, ратующих за многообразные формы самоуправления, общественного контроля и *созидательного беспорядка* (*le désordre créateur*), к «поклонникам, — как он выразился, — буйного разгула демократии»<sup>8</sup>.

Их ставка на свободного человека совершенно противоположана разработанной писателем политической диете. Солженицын ставит на человека, жертвующего излишками свободы. Всеобщее благо зависит, по нему, не от организованных и творческих усилий политически независимых и зрелых граждан, но от неких неизменных автоматических регуляторов, от вечных двигателей общественного благоразумия. Один из них, либеральная экономика, препятствует самоуправству властей, другой, христианская умеренность, — разрушению природной среды и разрушительному духу наживы, и последний (по счету, но не по значению), христианский авторитаризм, кладет конец «буйному разгулу демократии» и всем сопровождающим его явлениям: спорадическому столкновению социальных антагонизмов, синдикалистской анархии, беззастенчивой прессе, распространению политической литературы, порнографии, терроризму.

Солженицын — враг неумеренного централизма, но фактически он отпускает ему бессрочный и неограниченный кредит. Идеология писателя обнажает затаенный в либерализме деспотический соблазн, и поэтому от него открещиваются еще недавно не чаявшие в нем души либеральные консерваторы.

Не исключено, что они приняли к сведению предупреждения *новых философов* о происках современного Великого Технократа, возводящего с маниакальным упорством кибернетический, ядерный и психиатрический централизм, чтобы взять на полное материальное и духовное обеспечение навсегда успокоившихся граждан. А тут уже нетрудно сообразить, что для осуществления этой лоботомии ему понадобятся мощные анестезирующие средства. И хотя кустарные рецепты Солженицына предназначены для совсем иного употребления и гуманный варвар не отыщет в них уникальных и неожиданных идей, они, конечно, могут перепугать не одних ортодоксальных марксистов.

8. Письмо вождям, стр. 43.



*Новые философы* издеваются над еврокоммунизмом, не способным размежеваться с громоздким и постоянно кровоточащим реальным социализмом, с которым они, знать, связаны, как сиамские близнецы. Но что мешает *новым философам*, во избежание кривотолков, обвинений в романтической безответственности и «правизне», указать на все то, что должно быть неприемлемо и чуждо им в Солженицыне, перечитать его критически и интегрально, как они перечитали Маркса и Ленина? Врачеватели идеологической катаракты, не заняться ли вам своим собственным зрением?

Я не хочу сказать, что селективный анализ есть всегда ампутация Солженицына для пользы славных и бесславных дел и он не имеет заслуг в *солженицыноведении*. Тот же Клод Лефорт вывел из «Архипелага» сложнейшую и всеобъемлющую формулу советской социальной стихии, установил законы ее исторического движения и смерчей. После «Лишнего человека» советский сфинкс утерял, как капитализм после Маркса, значительную дозу своей загадочности и абсурда.

Но обрабатывая свидетельские показания Солженицына, Лефорт не вникает в личность писателя, в психологическую субстанцию исследуемого материала и остается в рамках социальной абстракции, что свойственно вообще марксистской критике. «Лишний человек» у Лефорта — это прежде всего сам автор «Архипелага». Отвернувшись от Солженицына идейного, статейного, августовского, Лефорт лишил себя возможности истолковать им же обнаруженное в «Архипелаге» противоречие между революционным и консервативным Солженицыным. Вывод философа о победе революционного духа над тем, что он не слишком удачно называет «христианским стоицизмом», имеет весьма относительную ценность: в «Августе» наблюдается прямо противоположная победа.

В «Августе», где произошло слияние идейной и эпической волны (и отделить их друг от друга не сможет никакая методологическая дамба), комплексный, интегральный анализ становится насущной необходимостью, единственно подходящим инструментом познания синтетической реальности романа.

С его помощью нам удастся оторваться от бухгалтерского подсчета недостатков и страниц, войдутших в золотой фонд литературы. Обнаружить бесчисленные нервные нити, бегущие от романа

к статьям, от кисти художника к его мозгу. Они приведут нас к истокам исторической версии писателя и объяснят поведенческие принципы героев.

Например, в «Письме вождям» Солженицын скорбит по утраченному «физическому и духовному здоровью народа»<sup>9</sup> — и *августовский* народ обретает его под сенью русской автократии. А герои чувствуют себя первооткрывателями, разведчиками будущего.

В статьях («Из-под глыб») писатель отличает *внутреннюю* свободу от *внешней*, обязательную от лишней — в «Августе» такой подход дает себя знать пренебрежением *нового класса* к политической деятельности...

«Август», в известном смысле, — художественный альбом к статьям Солженицына. В нем эпос поступает на службу идеологии. Вместе со статьями роман образует идейный блок, противопоставленный революционному и раскованному «Архипелагу». Своеобычно в этой раскладке, в этом разделении труда и души то, что роман в гораздо большей степени подвержен идеологии, чем историческая, публицистическая трилогия.

Но пробивая ходы сообщения между двумя, наглухо перегороденными отсеками солженицынского творчества и снуя по ним из «Августа» в «Архипелаг» за справочной данью, мы приучились схватывать в темноте общие очертания всей инфраструктуры.

Останемся же теперь в ней, пока не освоимся окончательно и не раскусим архитектурного назначения этой глухой и недавно возникшей перегородки, закрепившей духовный раскол писателя.

Дробление свободы на *внутреннюю* и *внешнюю* в спектре солженицынского сознания — чисто советский зрительный феномен и наиболее вероятная предпосылка постигшего писателя раскола. *Внутренняя свобода* воспринимается таковой, когда у граждан конфискуются все до единого политические права и всякая надежда на них в обозримом будущем. В качестве недоступной, абстрактной категории свобода, вчера еще бывшая мотором общественного движения, перестает ощущаться предметом первой необходимости. Люди мечтают о картошке и о том, чтобы не загреметь в лагерь, а не о выборах с несколькими кандидатами. И к

9. Там же, стр. 45.

политической свободе в условиях, напоминая советские, складывается несколько ироническое отношение, как к рябчикам и к ананасам, вкус которых сохранился только в литературе и на сытом легкомысленном Западе. Отсюда один шаг, чтобы почитать ее причиной вчерашней гибели и недопустимой, развращающей роскошью завтра.

Между прочим, те на Западе, кто твердит о фетишизме, формализме и избирательном мошенничестве современной демократии, находятся куда ближе к Солженицыну, чем можно было бы предположить. Нападая на *внешние свободы*, Солженицын, не замечая того, возвращается к революционному идеалу своей юности. Тогда повторялись слова Ленина, что слабость буржуазной демократии в России позволила ей вырваться из мировой капиталистической системы и выйти в финал социализма. Правда, Ленин говорил о слабости русской буржуазии, но мы не покушаемся на смысл его заключения, потому что Ленин не делал разницы между буржуазными партиями, буржуазной демократией и демократией вообще. Солженицын тоже не делает разницы между *внешней свободой* и демократией, и, пользуясь ее отсутствием, рассчитывает склонить Россию к осознанной необходимости, к скачку в авторитарное царство.

Меняются времена, но неизменна воля духовных лидеров России обратить ее слабости в средство спасения. И если ленинская революция почти сразу очерилась контрреволюционными клыками, то контрреволюционный язык Солженицына прячет молочные зубы революции.

По Солженицыну, западные страны человечнее советской не за счет своих свобод и представительного управления, а благодаря сохранившимся в них христианским нравам, остаточной энергии христианской морали. Советский Союз, естественно, хуже западных стран не потому, что не допускает *внешних свобод*, а оттого что его Идеология запрещает жить в ладу с христианскими заповедями.

Сводя общественную проблематику к этической и рассматривая господствующую идеологию (марксизм-ленинизм) как нравственную aberrацию, как рак души, Солженицын отступает к домарксовской историософии. А разогнав политических химер и туман социального детерминизма, он открывает великое противостояние абсолютных добра и зла: зла Идеологии и воображенного по ее подобию добра Христианской Морали. Зрелище этого пое-

динка обусловило резкую ревальвацию нравственной проповеди в духовном арсенале писателя.

Солженицын уговаривает *вождей* отказаться от Идеологии, «отдать»<sup>10</sup> ее китайцам и реабилитировать христианское назначение России. Взамен он обязуется признать советский режим (ни одна система не бывает хороша или плоха сама по себе) и мандат *вождей* (отделавшихся от демонов идеологии).

И шаг Солженицына — не тактическая уловка, но продуманное и во всеуслышанье заявленное «нет» бесплодным и отчуждающим грезам «образованцев» о революционном, политическом и демократическом преобразовании страны, перспективы которого были раздавлены пражским блицкригом. С этого момента раздвоение личности принимает в творчестве писателя четкие клинические формы и ее революционная ипостась отправляется в изгнание на «Архипелаг ГУЛаг»...

«Письмо вождям» встретило прохладно-иронический прием у большинства оппозиции и сочувственно-понимающий — у широкой публики: «А ведь прав Александр Исаевич. Черт с ними, с вождями. Пускай себе остаются. Все равно ни они, ни другие не знают как лучше. Избавимся хотя бы от коммунизма, от которого давно всех мутит...»

Чтобы нейтрализовать влияние письма на широкого читателя, Д. Панин посвятил ему целую книгу. Идеология, объясняет он в ней, — овечья шкура, прикрывающая врожденные инстинкты советской государственности. И ее нельзя почитать добросовестным заблуждением мужей, достигших высшей власти в результате «строгого и специфического отбора»<sup>11</sup>. Волка не сделаешь вегетарианцем, а щекотать национальные чувства этих индивидов — и вовсе неосторожная и двусмысленная затея. *Вожди*, если и откажутся от идеологии, то с тем, чтобы вместо красного выбросить черное знамя нацизма.

Призывая читателя свергнуть правительство (*с волками иначе не делать мировой...*) и клеймя Солженицына за отступничество, Панин все же преувеличивает воздействие общественных трактатов и прокламаций на настроение умов. Ведь на письмо Солженицына до сих пор не последовало ответа из Кремля. И массовый читатель, растроганный предложением писателя покончить с прину-

10. Там же, стр. 16.

11. Солженицын и действительность, стр. 7.

длительным посещением государственной церкви, в глубине души верит в «Realpolitik» Солженицына не больше, чем сам Панин. У читателя имеется богатый опыт, и этот опыт ему говорит, что *вожди* приходят и уходят, а идеология остается. И художественные произведения Солженицына не опровергнут читательского скептицизма. Конденсация народного опыта, они неумолимы на этот счет: *вожди* — токсины, выделяемые больным обществом, и невосприимчивы к благовесту.

Это у Солженицына сердце обливается кровью, когда он глядит на Россию, погрязшую в пьянстве, лихоимстве, идеологическом шаманстве, на бешеное кипение военно-индустриального котла, отравляющего своими испарениями природную среду и дающего жидкий приварок самому бедному в Европе после Албании народу. Всеми своими рассказами и романами (а он пока что не отрекся от них, как Толстой от «Войны и мира») Солженицын убеждает нас, что *вождям* на это наплевать, что основная их забота — донести до кремлевского кладбища свои бранные останки, а после них хоть потоп.

Никто лучше Солженицына не растолковал нам, что работникам аппарата постольку нужна идеология, поскольку в ней они черпают легитимность своей власти на одну шестую земной суши со всеми ее людскими и заводскими потрохами. И поэтому их идеология всегда будет тоталитарной. Кстати, идея национал-христианского тоталитаризма уже нашла своего апостола в лице диссидента Г. Шиманова, и ее проповедь должна показаться Солженицыну зловещим бредом<sup>12</sup>.

За исключением «Августа», проза писателя совершенно не стыкуется с его идейной платформой. Зато она — незаменимое подспорье для либерально-марксистской и революционной критики советского государства. И в частности, для «демократического коммуниста» П. Егорова, чей ход мысли предельно прост: так как в СССР средства производства находятся в фактической собствен-

## 12. Вот две установки Шиманова:

«Если предположить грядущую трансформацию Коммунистической партии в ПРАВОСЛАВНУЮ ПАРТИЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, мы получили бы действительно идеальное государство...»;

«После Великого Октября речь должна идти о ПРАВОСЛАВИЗАЦИИ ВСЕГО МИРА и, как следствие этого, об известной русификации его».

Цитирую по «Приложению» к статье А. Янова «Идеальное Государство Г. Шиманова». *Синтаксис*, № 1, 1978, стр. 54-55.

ности тех, кто вершит над ними контроль и распоряжается плодами труда, оздоровить климат в стране и очеловечить режим станет возможным с помощью экспроприации экспроприаторов и передачей народу узурпированной собственности и воли<sup>13</sup>.

Но Солженицына не вовлечешь в политику. Разрубив связи между идеологией и социальной действительностью, он действует в кадре *внутренней свободы*. И найдя нравственную точку опоры, которую искал всю жизнь, Солженицын намерен теперь перевернуть советский мир, апеллируя к здравому смыслу, человеческой солидарности и к национальной гордости *вождей*, полагая, что и они «не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам»<sup>14</sup>.

Именно так поступает его герой Воротынцев. Чего он этим добивается, мы знаем. Попавшие на капитанский мостик русского военного корабля в результате «строгого и специфического отбора», генералы ненавидят честного полковника, брезгливо отмахиваются от его предостережений и не подозревают, во что обернется их упрямство им самим и «родным просторам». Они командуют, как умеют. И другая выучка, другое умение не увенчали бы их стараний, что явствует из романа, генеральскими эполетами, высокими постами.

Семена солженицынского идейно-морального посева не выдерживают экзамена на всхожесть и жизнестойкость на опытной делянке эпопей, в итоговом произведении жизни. Но самый важный урок «Августа» заключается в том, что свобода не получается *внутренней* и *внешней*. Она неделима. И тем, кто не использовал в «Августе четырнадцатого» всех возможностей *внешней* свободы, предстоит утратить ее вскоре целиком, как *внешнюю*, так и *внутреннюю*.

Осознает ли это автор? В романе, наверное, нет. И несомненно осознает в «Архипелаге». Воспевая восстания, повторяя вслед за Лениным, что народ перестает быть рабом, когда поднимается на своих угнетателей, Солженицын размывает философские берега *внутренней* свободы, забывает их условную линию и опережает своих критиков страстностью и стремительностью революционного рывка.

13. Социалистическая оппозиция в Советском Союзе сегодня, стр. 123-146.

14. Письмо вождям, стр. 7.

Но как увязать в одном творчестве, в одном мировоззренческом плане эти два жизненных принципа, эти две психологические тональности? Глухая стена разбивает труд Солженицына на две территории. Не для того ли, чтобы избежать их диалектической конфронтации, чтобы не видеть и не слышать их дисгармонирующей автономии?

## 18. РАСКОЛОТЫЙ МИР

Вечный оппонент Солженицына Д. Панин, его бывший герой, выведенный («В круге первом») под именем Сологдина и споривший с автором, прототипом Нержина, еще в мавринской шарашке, напоминает романисту старинный лагерный девиз: «Раб снаружи – внутри воин»<sup>1</sup>. Очевидно, эта дуалистическая максима прошла глубокой бороздой по сознанию писателя. Но в лагере она имела более мажорный смысл. Его-то по-прежнему и чтит Панин. Так же как эзк, вынесший из лагеря *внутреннюю* свободу, становится на воле вполне нормальным человеком, ничем не отличающимся от прочих юридически свободных граждан, а в чем-то крепче и выносливее их, так и население великой страны, выйдя за ограду идеологического лагеря, проявит себя свободным во всех отношениях и беспрепятственно включится, уверяет Панин, в концерт цивилизованных наций.

А позывные Солженицына, настраивающие граждан на молитву и самосовершенствование, лишь отвращают от политического движения, от революции. И раз демократия по плечу папуасам, то надо быть поистине невысокого мнения о своем народе, чтобы сомневаться в его готовности к ней.

Для Солженицына такие расчеты грешат безответственным оптимизмом. И потом ему кажутся спорными и призрачными преимуществами, ожидающими эзка за лагерными воротами. Физическая свобода оплачивается здесь иступленной, поглощающей человека без остатка борьбой за выживание и превращением его в тварь дрожащую. Рядом с лагерником, выпростанным из материального кокона и семейных уз, «вольняшка», то есть обыкновенный советский человек, бесконвойно перемещающийся в отведенном ему пространстве, – существо более низкой духовной организации. В «Круге первом» бывалый эзк инженер Бобынин смеется в лицо всемогущему министру госбезопасности Абакумову: «Человек, у

1. Записки Сологдина, Посев, Франкфурт, 1973, стр. 250.



которого вы отобрали все — уже не подвластен вам, он снова свободен»<sup>2</sup>.

А вылетев мысленно, а затем и собственной персоной за железный занавес, в русское завтра, скалькулированное западниками по европейскому шаблону, *внутренне* свободный человек узнает, что такое мир сплошной свободы. Он застаёт его элиту в добровольном плену той человеконенавистнической доктрины, что у него на родине усваивается не иначе, как из-под палки. В чаду «опереточных» избирательных баталлий, телевизионных «переговариваний друг друга», в неоновой свистопляске рекламы, подстегивающей потребление, бледнеет и исчезает свет той свечи, которую он пронес в зажженном состоянии через Сибирь географическую и идеологическую.

Выходит, последовательное расширение формальных свобод, физической и политической, не приносит долгожданного избавления, а наоборот притупляет в человеке способность к сопротивлению. Кому есть, что терять, тому труднее сохранить себя, не дать загасить в себе «Божий огонь».

В расслабленной и тепличной повседневности лагерь вспоминается своего рода пустыней, монастырем, где в обстановке крайнего опрощения, сжатия и укрощения плоти добываются золотые крупички истинной свободы. Солженицын благословляет в «Архипелаге» испытания, сделавшие из него, из надменного офицера, из потенциального литературного функционера, призванного иллюстрировать в сценах и образах решения партии и правительства, — бойца, писателя милостью Божьей.

Поселившись нынче на краю Америки и обнеся высоким забором свой двор, Солженицын создал в новой американской неволе условия, близкие к натуральным. Здесь, в уединении, посещает его суровая лагерная муза, избегающая пустого и безблагодатного общения с советскими и западными «вольняшками».

Но слышать у Солженицына проповедь возвращения к природе (а природа XX века — лагерь) было бы слушать его одним ухом. Хотя изложенный ход мысли нами не выдуман и довольно часто прошивает страницы его произведений, мы отыщем в них же все, что опрокидывает эту цепь рассуждений.

Начнем с того, что лагерь есть лагерь, фабрика уничтожения и

2. Стр. 103.

растления человека. Всякий, вышедший из него живьем, несет до конца дней свою вину перед теми, кто оставил там кости, ибо в лагере, признается Солженицын, можно выжить только за чужой счет.

Думы работяги всегда одни и те же: как бы *закосить* лишнюю миску баланды, выпросить окурок, перехватить с чужой посылки... Наружное рабство легко просачивается внутрь и достигает человеческой сердцевины. Глюксман, молящийся на Ивана Денисовича и меряющий на гигантских весах его сопротивленческую энергию, аккумулятором которой является якобы плебс, не видит, что Иван Денисович тоже покорежен лагерем, что в середине срока он уже и не знает, хотел бы он на волю или нет. Сохранить душу неповрежденной удастся редким *праведникам*, наделенным особой «точкой зрения», таким, как Алеша-баптист, но им-то и не удастся сохранить жизнь.

Далее. Из двух видов материального порабощения, восточного и западного, последний все же менее невыносим, на вкус Солженицына. Отчуждение потреблением можно обуздать рассудком и волей, нравственным внушением. А как сэкономить на самом необходимом? Воспроизводство рабочей силы обходится крайне дорого в стране победившего социализма. Грошовый заработок нужно еще суметь истратить на еду, одежду, обувь. И все это не так легко найти, особенно в провинции, куда не доходит скудный ручеек материальных благ и подернутый умилением взгляд иностранных доброжелателей режима. Человеку, занятому без передышки изнурительной и унижительной охотой за самым необходимым, за самым насущным, не остается времени на душу.

Наконец, в стране, где «права нет, закона нет, да и человека нет — есть документ»<sup>3</sup>, где каждый шаг подвергнут административному надзору, где выбор места жительства и занятия произвольно ограничен, — в такой стране нельзя рассчитывать на взаимное уважение и достичь когда-нибудь того возраста, когда с человека допустимо спрашивать в полной мере за свои поступки.

Поэтому для Солженицына правовое общество — гарантия гражданского раскрепощения страны, а конкурентное, рыночное хозяйство — раскрепощения материального. Писатель оправдывает богатство немногих, когда ему сопутствует безбедное существо-

ование трудящегося большинства, когда оно — не причина всеобщей пауперизации.

В «Архипелаге» и в «Августе» Солженицын несколько раз останавливается на том, как привольно было студенту в царской России. Как легко ему было прокормиться, обеспечить прожиточный минимум и уйти с головой в учебу, науку. Здоровые телом и духом студенты в «Августе» выгодно отличаются от полуголодных, задерганных вузовцев из общежития на Стромынке («В круге первом»).

Но Солженицын не просто радуется материальному достатку до революции. На примере Ленина он показывает, как опасно сознательное и экзальтированное воздержание от нормальной жизни, от физического здоровья, от полноты ощущений и бытия. Доведя себя до монастырской нищеты, забившись в кабинетный угол, подальше от солнечного луча, шума городской толчеи, красок и запахов земли, Ленин создал взаперти Идеологию, принесшую всем небывалое в истории отчуждение, духовное и материальное.

А теперь представим себе недоумение западного читателя, который, ознакомившись с «Августом» и «Лениным в Цюрихе», включает вечером телевизор и смотрит, как Солженицын мечет громы и молнии в общество потребления, в безбожный материализм, попутавший Запад лет триста назад и грозящий ему сейчас окончательным уничтожением.

Поставим себя также на место советского читателя, прослушавшего по иностранному радиовещанию главы из эпопей, а потом прочитавшего в самиздате статьи «Жить не по лжи» и «Образованщина», зовущие его пойти на любые жертвы, на любые материальные ущемления, только бы жить не по лжи, только бы не соучаствовать в идеологическом балагане и в публичных аутодафе: «Пусть мои дети на корочке вырастут да честными!»<sup>4</sup>

Нужно, ей-Богу, немало самообладания, чтобы славить «нож в грудь стукача!»<sup>5</sup>, упиваться «заразой свободы»<sup>6</sup>, что «рванула нам ураганом в легкие»<sup>7</sup>, и рекомендовать одновременно с этим смирение, раскаяние, жертвенность, воздержание от *внешних* свобод.

4. Из-под глыб, стр. 235.

5. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 246.

6. Там же, стр. 290.

7. Там же, стр. 261.

«... ряды гуманных книг нависают надо мной с настенных полок, — спешит Солженицын предупредить смятение читателя, — и тускло-посверкивающими неновыми корешками укоризненно мерцают, как звезды сквозь облака: ничего в мире нельзя добиваться насилием! Взявши меч, нож, винтовку — мы быстро сравняемся с нашими палачами и насильниками. (...) Здесь, за столом, в тепле и в чисте, я с этим вполне согласен»<sup>8</sup>.

Там же, на пронизывающем экибастузском ветру, слова эти, насколько мы понимаем, выглядят жалкими филистерскими отговорками и благочестивой трусостью.

Писатель откровенен с читателем, но тому от этого не легче. Солженицын как-то забывает, что среди *укоризненно мерцающих неновых корешков* затесались его собственные, недавние. Каких же слушаться? Задуманных там, «когда в зоне пылала земля»<sup>9</sup>, или же тут, «за столом, в тепле и в чисте», где-нибудь в Подмоскowie или в Швейцарии?

К счастью для вермонтского отшельника, такие вопросы — логическая фикция. Читатель никогда не мучается ими. И нам незачем ставить себя на его место, чтобы знать это наверняка. Все эти чувства: недоумение, растерянность, смятение — неизбежные, казалось бы, и естественные реакции на солженицынские неувязки, не осложняют и не омрачают наш роман с писателем. Мы принимаем его за человека одной страсти, одного куска, и его противоречивые указания не сбивают нас с ноги. Они словно не достигают нашего сознания. Каждый из нас облюбовал у Солженицына «свою» территорию и усекает лишь ее язык.

Для Оливье Клемана Солженицын — стопроцентный христианский писатель. В любой строчке вырванной он отыщет у него заглаженный библейский смысл и подберет к нему «параллельный текст» из Святого Писания<sup>10</sup>.

Клод Лефорт не нахвалится «хорошим марксистским языком»<sup>11</sup> Солженицына, безупречностью его марксистского чутья. Особенно нравится критику экономический анализ, посвященный быту *туземцев* «Архипелага ГУЛага», пускай и проделанный в пародийных целях.

8. Там же, стр. 246.

9. Там же, стр. 239.

10. O. Clément, *L'Esprit de Soljénitsyne*, Stock, Paris, 1974.

11. *Un Homme en trop*, op. cit., p. 110.

Обе характеристики не расходятся с истиной. Разумеется, Солженицын верует в Бога, которого ему пришлось бы выдумать, если бы Его не было. Разумеется, марксистская подкованность Солженицына выше, чем какого ни возьми члена Политбюро, и вероятно, всех их вместе взятых заткнет он за пояс по этой части. Но как же упускать, что Солженицын ненавидит марксизм и что ему не хватает определенных качеств, например, милосердия и терпимости, без которых не состоится христианский писатель!

Отзывы на него напоминают мнения слепых мудрецов из индусской сказки. Ощупав по очереди слона, они высказывают о нем разноречивые толки: это и столб, и кость, и мягкая ушная ткань... Мне пришла на ум эта сказка при чтении французской прессы на «Ленина в Цюрихе». Левая критика расценила книгу как необычайные похождения сверхчеловека и сверхзлодея Ульянова<sup>12</sup>. Правая – как сагу о бесцветном и бесстрастном партийном бюрократе, вышвырнутом на поверхность истории неразборчивым водоворотом событий в качестве «орудия высших сил»<sup>13</sup>.

До сих пор, говоря об идейной и психологической чересполощине солженицынского творчества, мы имели в виду разные произведения и статьи, по которым растасованы составные части противоречий, в чем и выражается их «устранение». Но, судя по откликам дезориентированной критики, противоречий еще немало остается и в отдельной книге. Труд этот, видимо, не доведен до конца, как, впрочем, и всякий сизифов труд...

Б. Суварин, оспаривая подлинность ленинского образа, считает ложным малевать героя одной краской, потому что «у Ленина можно найти все и отрицание всего»<sup>14</sup>. Суварин не замечает, что солженицынский герой не столь уж схематичен и однотонен (человек левой формации, он присоединяется к первой версии и игнорирует второе прочтение) и что у самого Солженицына тоже «можно найти все и отрицание всего».

12. См. «La Quinzaine Littéraire» от 16 декабря 1975 г., где опубликованы статья М. Феро «Ленин, или Аль-Капоне от политики» и В. Фая «Автор "Гулага" нашел своего демона».

13. См. рецензию А. Безансона «Солженицын возвращает память России» в «Фигаро» от 6 декабря 1975 г.

14. Статья «Солженицын и Ленин» в журнале «Est & Ouest», № 570, Париж, 1976, стр. 122.

У Солженицына, пожалуй, нет такой мысли, призыва, портрета, на которые можно было бы опереться, не опасаясь, что он вышибет почву у нас из-под ног другой статьей, образом, заключением. Дидактический апломб, с каким он несет миру очередную весть, не должен обмануть читателя. Нет никакой уверенности, что в будущем году, в смежном произведении или же в следующей главе он не выявит абсолютную относительность ранее заявленного, не сметет с дороги, не похоронит в сердце (надолго ли?) очередную правду-матку и не ринется дальше, оставляя за спиной спорящих с пеной у рта критиков, защищающих вчерашнего Солженицына от позавчерашнего, мракобеса от революционера, социалиста от буржуазного либерала, реалиста от мистика; критиков, не сомневающих в своей правоте и подозревающих противника в грубой недобросовестности или благоглупости.

Конечно, трудно примириться с тем, что глашатаю истины и справедливости не хватает органичности и связности в воззрениях. Однако не многого ли мы требуем от Солженицына? Принадлежи он целиком к какой-нибудь из идеологий, разгрызающих мир на кусочки под предлогом спасения его от распада, меньше бы спорили о нем и меньше бы его читали. Но Солженицын — поэт. Он стремится к реальности мирового единства и к единству мировой реальности. И разве виноват он, что мир советского человека — расколотый от рождения мир, в котором индивидуальное разъято с общим, общественным, социальным. Раскол этот преодолевается десятилетиями совместной и терпеливой социальной практики без надсмотрщиков и комиссаров, работой в саду, где расцветают, по крайней мере, сто цветов и оттого называемся культурой. А нам отказано и в этой практике, и в этой культуре.

Соблазнительно предположить, что доставшиеся нам тяжкие испытания хотя бы частично восполнили сей экзистенциальный пробел и наделили лучших из нас той мудростью, ясностью и крепостью духа, что, как обручами, стягивают разорванное сознание, превращают личность, выпавшую из истории, в личность историческую, органическую, пушкинскую, какую многие по недоразумению углядели в Воротынцеве и рикошетом спроецировали на самого автора.

Увы, «наши страдания не обогатили никого, — отрезвляет Надежда Мандельштам своего собеседника, американского поэта, за-

видующего судьбе гонимых русских писателей. — В нашем страдании ничего просветляющего не было и в помине. Никакой благодати в нем не ищите: только животный страх и боль. Я не завидую собаке, которую переехал грузовик, или кошке, выброшенной хулиганом с десятого этажа на улицу. Я не завидую людям, в число которых вхожу...»<sup>15</sup>.

Я тоже вхожу в их число и завидую покойной Надежде Яковлевне, успевшей закончить царскую гимназию, а не советскую школу, как все мы, как Солженицын. Завидую Клоду Лефорту, составившему настоящую менделеевскую таблицу советского универсума, которая разъясняет взаимодействие его социальных элементов и вытекающие отсюда события, чья первопричина и закономерность прячутся от нас, выпускников советской школы, барахтающихся в эмпирическом замесе явлений и испускающих моральные и политические протесты.

Такие открытия наводят на мысль, что страдания не заменяют культуры, но что культура награждает такой последовательностью проникновения и эластичностью синтеза, которые и не снились нашему горькому опыту, что, видно, и впрямь нас не очень обогатил.

Правда, он обострил в нас шестое чувство, приучил издалека распознавать силки и засады, улавливать дурные предзнаменования. В стране, где каждый ребенок уверен, что будущее превосходит самые мрачные ожидания, не переводятся кассандры, пифии, пророки. И если в предостережениях, пророчествах, интуитивных озарениях не искать связности, логики, всеосеняющего фонаря в ночи и не требовать непременно подтверждения прогнозам (лучше ложная тревога, чем ложный покой), то наш сейсмический дар сможет пригодиться нестреляному человечеству. С некоторых пор мы поставляем на Запад немало золотых петушков, и он с рассеянной благосклонностью уже слушает самых голосистых.

А в остальном мы не стали ни умнее, ни добрее, ни дружнее прочих жителей земли. Продолжительная боль тем паче разъедает связь с миром и людьми. И состояние предсмертного, младенческого эгоцентризма нередко сохраняется в человеке и после того, как боль отгорела и отошла в прошлое. Способные понять чужую беду, мы не всегда принимаем ее близко к сердцу, подозревая в

15. Вторая книга, стр. 283.

доносящихся криках отвлекающий маневр или же справедливое возмездие судьбы-злодейки.

Страдание не снабдило нас даже иммунитетом к деспотизму, а в некоторых взвинтило жажду тоталитарной мистики. «В России было слишком много страданий, и разрешиться им в комическом и жалком демократическом пшике Бог не позволит»<sup>16</sup>, — пророчествует преследуемый диссидент Шиманов, планируя человеческие жертвоприношения на алтарь злобного бога, веками не дающего спуску своему избранному народу и замышляющего для него все новые истязания. Неизвестно, много ли страдал сам Шиманов, больше или меньше, скажем, просидевшего долгие годы в камере-одиночке и хлебнувшего, кажется, пыток португальского генсека Куньяла, — их общий пример показывает, что боль и страдание не исключают тоталитарного исхода.

Историк А. Янов видит Солженицына на полпути к Шиманову<sup>17</sup>. Он считает, что течение его идей, каким бы ни искрились они неподдельным желанием добра своему и чужим народам, выносит объективно к тому же месту, куда сознательно гребет идеолог национал-православного тоталитаризма.

Однако не хватит ли нам устрашать себя пугалом объективного вреда? Не становится ли оно «объективным» оправданием субъективного исторического безделия, ожиданием у моря погоды? Не хотелось бы споткнуться о тот же камень, о который споткнулись герои «Августа». Дорога в ад вымощена добрыми намерениями? Допустим. Но чем же вымощена дорога в рай? Не злостными же? В конце концов, Ленин «В Цюрихе» меньше всего мечтает о земном рае, и его дорога без всяких диалектических выкрутасов ведет в ад (напоминая, между прочим, другую дорогу, которая «от "Майн Кампф"» прямо вела к газовым камерам Майданека»<sup>18</sup>).

Побуждения же Александра Исаевича — самые светлые. Вместе с большинством своих соотечественников он помышляет о разумном, братском, деятельном порядке вещей, в котором не будет места изуверской мистике, национальному и милитаристскому угару, сталинской дисциплине. Пускай он противоречит себе на

16. *Синтаксис*, № 1, 1978, стр. 41.

17. Там же, статья «Идеальное государство Геннадия Шиманова».

18. Так охарактеризовал ее британский прокурор на Нюрнбергском процессе. Слова, запомнившиеся А. Камю и процитированные им в «Эссе» (Galimard, 1965, стр. 587).



каждом шагу и «объективно» уклоняется от намеченной цели. Разберемся детально и непредвзято в его средствах и целях, но и не спутаем их с целями Шиманова.

У Шиманова, как и у Куньяла, нет противоречий. Обилие их у Солженицына – признак того, что он пребывает в поиске, что он доступен убеждению и истине (критерием которой у него служит практика и общественное благополучие, а не идеология) и что клетки его души подвергаются постоянному обновлению.

По ком звонит неумолчный колокол Солженицына?

По властителям умов и душ, по небесным стрелочникам, по строгим пастырям, сбивающим в плотную кучу своих овец и назначающим им безошибочное направление. Прошли те славные времена, когда так сладко и надежно было ощущать плечо или мокрый бок соседа под их невозмутимо простертой дланью. Она дрожит и не находит единственно верного пути.

Но если пастыри не справляются со своею ролью, может быть, это не так уж плохо? Может, со временем это притушит нашу мучительную в них потребность? И на смену духовному авторитаризму придет, наконец, долгожданная свобода мысли и мироощущения.

## 19. ПРОТИВОРЕЧИЯ ДУХА И ДУХ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Обвиняя Солженицына в разнообразных смертных грехах, легко попасть в смешную и нелепую ситуацию. Не так ли оно и происходит, когда мы обвиняем его в отвращении к тому виду насилия, что упрямо продолжаем именовать социализмом? Но не более вразумительны и претензии тех, для кого социализм — любовь и братство и, следовательно, не идентифицируется с советской или иной моделью. Жертва насилия не в состоянии опорочить любовь на взаимных началах, она порочит своих насильников. Ее фригидность должна бы вызывать к сочувствию, а не к отповеди. И политическая фригидность Солженицына — его беда, а не вина. Настаивая упорно и бестактно на реакционной, антисоциалистической (я ставлю запятую, как будто это однородные члены) направленности его идей, мы лишь обнажаем садо-мазохистскую природу своей социалистической веры.

Солженицына нередко называют врагом мира. Такое заклятие прозвучало, по-моему, впервые в 1950 году на процессе Давида Руссе<sup>1</sup>, и вот, отряхнутое от нафталина, оно снова в ходу. Тогдашние и нынешние прокуроры явно путают мир с мирной передышкой, необходимой действительным поджигателям войны, чтобы навести порядок у себя в тылу и чтобы умиротворить подопечное население идеологическим напалмом. Для левых и правых фарисеев мир есть священное право на невмешательство во внутренние дела палачей, укрывшихся за Берлинской, Великой Китайской и прочими стенами. И коли следовать логике обвинения, то нужно зачислить в махровые реакционеры и эзков из «Архипелага», просивших у неба американской атомной бомбы для себя и своих палачей (вьетнамские беженцы, которых преследует тот же кошмарный сон, окажутся в одной с ними компании).

На взгляд этих людей, вклад Солженицына в дело мира несравненно емче вклада в него инициаторов Хельсинкского соглаше-

1. Руссе предъявил иск журналу «Леттр Франсэз» за публикацию статьи «Почему Д. Руссе выдумал концлагеря в СССР».

ния или борцов за мир и социализм, то есть борцов за легализацию статус-кво, вышедшего из насилия и грабежей...

Камни, брошенные в Солженицына, привлекут когда-нибудь в будущем археологов, разведчиков психопатологических недр нашей кромешной идеологической цивилизации. Мы же займемся критикой обоснованной, критикой, имеющей реальное содержание. Так, Симон Маркиш, упрекая Солженицына в антисемитизме, не высасывает это утверждение из пальца. Старательно разоблачая в примечаниях к «Ленину в Цюрихе» истинные фамилии Троцкого, Зиновьева, Каменева и многих других сподвижников Ильича, писатель поступает как заправский советский журналист, что выкуривает с наслаждением жида из-под благопристойно звучащего русского имени, коварно присвоенного себе крупным и мелким врагом народа, барышником, фарцовщиком, подпольным миллионером.

«Солженицынский Исаак Бершадер, — пишет Маркиш о персонаже из второго тома «Архипелага», — без труда находит свое место в веренице чудовищ и уродов с антисемитских плакатов и карикатур»<sup>2</sup>. Напомним, что «старый грязный жирный кладовщик Исаак Бершадер»<sup>3</sup> не давал проходу гордой русской девушке, лейтенанту-снайперу, угодившей в бараки прямо с передовой. «Он был корягой гнилой, она — стройным тополем»<sup>4</sup>, — морщась, цитирует Маркиш и заключает: «Старый и гнусный жид, покушающийся на «белую лебедь», — сюжет для пропагандистского плаката, (...) предупреждающего наивных и невинных ариек против еврейского сластолюбия и коварства»<sup>5</sup>.

И нам нечем возразить Маркишу, кроме, пожалуй, того, что в «Августе» Солженицын делает образчиком гражданского поведения не кого-нибудь, а инженера Архангородского, за что автору достается на орехи уже от национальной критики, недовольной ролью «положительного еврея»<sup>6</sup>.

Не царские генералы, которые в «Августе» не вылезают из молебнов, а еврей Архангородский — настоящий патриот русской земли. И синагогальная община Архангородского не портит в романе идеального социально-исторического российского ланд-

2. См. статью «Не зажмуриваясь». *Сион*, № 14, 1976, стр. 113.

3, 4. Архипелаг ГУЛаг, т. 2, стр. 226.

5. *Сион*, № 14, стр. 113.

6. «Август» читают на родине, стр. 45.

шафта, не захламляет «родных просторов». Чтобы познакомиться с зоологическим антисемитизмом, нужно отведать не Солженицына, а Шиманова<sup>7</sup>.

Сочетание же в Солженицыне *жидоеда* с *жидолюбом* — лишнее подтверждение феноменальной противоречивости писателя и бесполезности целенаправленной моральной критики в его адрес. Будучи даже оправданными, обвинения и критика почти всегда выглядят односторонними, потому что опровергаются другой, неинкриминируемой частью его творчества. Зоилы Солженицына не убеждают до конца, несмотря на искренность чувств и неотразимость приведенных цитат. Споря с ним, мы, бывает, — сам я, во всяком случае, часто ловлю себя на этом — повторяем его же аргументы, изложенные в ином месте и по иному поводу.

Установить расхождения писателя с передовым курсом — студенческое упражнение. Куда сложнее и существеннее очертить угол расхождения между его собственными доводами и образами, докопаться до причин очередного зигзага. И хотя распутать некоторые из солженицынских противоречий было бы не по плечу самому искушенному диалектику, ко многим из них, запасясь временем, терпением и доброжелательностью, можно все-таки подобраться и скинуть хоть несколько туго затянутых петель.

Скажем, противоречие между революционным и антиреволюционным сознанием, поляризованным в «Архипелаге» и в «Августе», объясняется в рационально-идейном плане тем, что, отвергая советский образ жизни, Солженицын осуждает и все то, что к нему

7. Например, такие его высказывания:

«Поскольку евреям не удастся разложить до состояния навоза ни один народ, и ни одному народу не удастся, в свою очередь, ни ассимилировать евреев, ни вытолкнуть из себя, ни нейтрализовать их разрушительное влияние, то в результате оказывается мучительная для обоих (...) борьба: почвенный организм страдает от рези и головокружения, причиняемых ему однородным малым организмом, а этот последний ощущает на себе малоприятное, а иногда и нестерпимое, давление ("дискриминацию") большого организма, не желающего стать почвой (навозом) для беспечального процветания еврейства»;

«Евреям нет дела до того, что их щупальцы, въедающиеся в чужие организмы (евреи называют это "еврейским вкладом" в чужую культуру), бескровят и душат последние...».

Из самиздатского журнала «Евреи в СССР». *Вестник РХД*, № 121, 1977, стр. 121, 122.

приводит: ленинскую революцию, ее прямые и косвенные движущие силы в прошлом, настоящем и будущем.

Такова идейная основа ножиц, откуда расходятся оба ряда ментально-психологических вариаций: обличительный пыл, нетерпимость, аскетизм, революционный гнев — в одну сторону, а в другую — либеральная опасливость, «капиталистическая утопия», «христианский стоицизм», тяга к авторитарному покою, волевая анемия...

Поддается расшифровке и «антисемитизм» писателя. Солженицын ничего не имеет против еврея, проживающего в национальной или в заимствованной, но ставшей родной ему среде. Солженицына не пугает ни еврей, ходящий в синагогу, ни еврей, посещающий церковь. Но он не терпит еврея-коммуниста, порвавшего с Богом и патриархальным регламентом. Без нежности взирает он и на еврея, выращенного в социалистическом инкубаторе. Социализм — амплификация самого худшего, что накопилось в человеке и в нации за века исторического марафона. Мы уже обращали внимание на то, что о русских Солженицын говорит вещи, мало сказать неприятные — жестокие. Не сдерживается он и в отношении евреев.

Пока человек живет *под отцовским присмотром*, его национальные грехи «не выпячиваются», не замечаются и перетягиваются с лихвой универсальной благодатью человеческого рода и достоинствами каждого народа. Выветренный же из органической почвы, человек превращается в чертополох, в сорняк, в «алчного Бершадера»<sup>8</sup>, обнаруживает черты, которые Маркиш не колеблясь относит к геббельсовской типологии.

Устраивает нас или нет такое решение еврейского, как и любого другого национального вопроса, мы не можем на сей раз отказать автору в последовательности, что, конечно, — слабое утешение задетому за живое читателю.

Отвергнув классовый расизм, поиски *типического в индивидуальном* и отказавшись лобызать ноги мужику или пролетарию, Солженицын все же не сумел или не захотел, и здесь мы согласны с Маркишем, возвратиться в русло иудейско-христианской и русской гуманистической (недаром его знобит от этого слова) традиции, для которых единица измерения есть человек. Ведя счет на страны и народы, распределяя национальную и коллективную от-

8. Архипелаг ГУЛаг, т. 2, стр. 227.

ветственность, Солженицын продолжает увлекаться большими числами. И эта игра, хорошо известная марксистам и националистам, обычно не доводит до добра: в ней легко теряется человек.

Если бы все противоречия писателя можно было бы вскрыть какой-то одной отмычкой, я бы указал на то, что многие его идеи и суждения имеют полемическое происхождение и родились из опровержения того или иного культурно-исторического советского стереотипа, идеологической аксиомы, изречения вождя или классика. И мы увидим дальше, почему этот способ «мышления от противного», общий для всех его соотечественников и обозначенный в советологии обратным эффектом советской пропаганды, становится генератором противоречий.

При отсутствии всякой другой информации, кроме сфабрикованной, всякого духовного, философского, культурного дубля, в обстановке беззастенчивой и безраздельной лжи, разлитой толстым слоем по всей жизненной поверхности, такая работа мозга диктуется инстинктом самосохранения, санитарной защитой от деградации и маразма.

Примером отрицательного мышления послужил сам советский миф, не содержащий в себе ни одной самостоятельной положительной ценности и построенный целиком на противопоставлении капиталистическому Западу, империалистическому аду. На Западе — человек человеку волк, у нас — друг, товарищ и брат. На Западе — нищета, кризисы, безработица и отчуждение, у нас — все для человека и все условия для расцвета личности и т.д.<sup>9</sup>

Узнавая из газет о местных и международных событиях, читая книги о «реакционных» мыслителях, писателях, деятелях, мы производили в уме обязательную операцию — отрицание отрицания, переводя идеологический негатив в позитив добытого знания. Само собой разумеется, что довольствоваться приходилось произвольным и скудным ассортиментом фактов, безжалостно вырубленных из живого и неведомого нам контекста, и усваивать воленс-ноленс логику, подход и артикуляционные приемы самого информационного источника...

В вымышленном и воображенном от начала до конца «Авгу-

9. Мифология «социалистических» и «прогрессивных» стран третьего мира опирается на тех же китов. Амин Дада распекал своих министров за буржуазную несознательность, пережитки прошлого и за боязнь нового, прежде чем скормить их крокодилам.

сте», где только сцена артобстрела пробирает до кишок первичной подлинностью пережитого, читатель подметит немало перевернутых, перелицованных идей и откровенных швов антимодели.

Советская литература представляла Россию голодной и нищей страной — широким жестом Солженицын набрасывает всеобщее благоденствие и безбедность до революции.

Царские офицеры изображались невеждами, пьяницами, картежниками, дебоширами — Солженицын вступается за русское офицерство и дает его сочувственный групповой портрет:

«Долгая гарнизонная служба, отдельный от общества мир; (...) и презрение со стороны этого общества, осмеяние со стороны передовых писателей; и верховный запрет мыслить о политике, о МАТЕРИЯХ, обстриженный или потускневший интеллект; и постоянная денежная недостаточность; и через все это, в очищенном и собранном виде, — энергия и мужество наций» (327).

Выпускник офицерского училища Саня Лаженицын задумал отправиться однажды в лодке по Дону, чтобы познакомиться ближе с казачьим бытом. «Стыдно было ему ничего о казаках не знать, кроме того, что они нагайками разгоняют демонстрации, — а это смелое, подвижное, сильное племя, из самых здоровых русских порослей» (120).

В том же направлении движется и эпическая ладя романиста.

Толстой высмеивает юридическую законность, подменяющую Закон Божий, — и Солженицын иронически отвечает (в «Архипелаге»), что без этой, дескать, самой законности перекрыла бы полиция за милую душу вход в Ясную Поляну, прекратилось бы паломничество к «Великому Старцу», никто бы не прочел его книг и был бы он один как перст, как академик Сахаров. И неспроста в «Августе» тот же восторженный юноша Лаженицын пользуется счастливой возможностью войти в святое место, чтобы поглазеть на свое божество и перекинуться с ним парой слов о смысле жизни...

Книжная индустрия издает миллионными тиражами толстовские романы, и бодрые теоретики, распиная автора на словах за идеалистический фатализм его произведений, высучивают из их же психологической массы философскую пряжу социального фатализма и детерминизма, посмеиваются вместе с автором над незадачливыми бонапартами, над осрамившимися волюнтаристами и насильниками истории, — и вот Солженицын устраивает Толстому

форменную экзекуцию, прогоняет сквозь строй военных глав его знаменитые и не оправдавшиеся в современном сражении высказывания, издевается над его ленивой верой в Промысел.

Но беда в том, что изгнанные через дверь идеи и ощущения проникают обратно сквозь подвальное окошко и затвердевают в фундаменте солженицынского интеллекта. Мы узнаем их в безысходном детерминизме, в недоверии к свободной и разумной общественной воле — во всем, что мстит за себя в романе бессилием «положительных евреев» и русских, а в публичных выступлениях оборачивается мрачным кукованием, кинжальной критикой демократических ценностей.

Сторонник абсолютизма маркиз де Кюстин поехал когда-то в Россию, чтобы «найти аргументы против представительного управления, а вернулся сторонником конституций»<sup>10</sup>. Так и Солженицын, чем дольше живет он на Западе, тем меньше находит тут что-либо достойное интереса. Но в противоположность де Кюстину — все больше становится приверженцем авторитаризма. Дух противоречия толкает его на войну с ветряными мельницами общепринятых и бесспорных истин. Он конфузит соотечественников-эмигрантов и огорошивает заграничных поклонников. Первым его речи по манере и пафосу напоминают советские путевые очерки с их Желтым Дьяволом<sup>11</sup>, загниванием и разложением. Вторым — местные реакционные листки.

Пророк и ниспровергатель, Солженицын не способен и не старается угодить никому. Прожив до пятидесяти лет с цензурным клином, вбитым как на плакате Amnesty International, по самое горло, Солженицын опьянел теперь от ветра свободы, «рванувшего ураганом в легкие». Громогласно спешит он выдать все, что накопилось за все немое существование, сжалось и деформировалось под глыбами идеологии. Времени на отбор он себе не оставляет. Он даже не чувствует, что негативные по своему происхождению тезисы превращаются в антитезисы по отношению друг к другу. Его Гарвардская речь, где он разделяется с законностью и объявляет, что «когда вся жизнь пронизана отношениями юридическими, создается атмосфера душевной посредственности, омерт-

10. *Lettres de Russie* (Письма из России), Gallimard, Paris, 1975, p. 33.

11. «Город Желтого Дьявола» — хрестоматийный очерк Горького о Нью-Йорке.



вляющая лучшие взлеты человека»<sup>1 2</sup>, вступает в вопиющее противоречие с энергичной защитой правового общества в «Архипелаге» и с антитолстовскими филиппиками в «Августе».

Многослойность, сумбур, взаимоисключающая пристрастность. И причин тому несть числа. Советский ад привил писателю эсхатологическое зрение, которое бесит его у революционеров. Солженицын не умеет воспринимать обычную жизнь, какая она есть, со всеми ее проблемами и неурядицами. Ему видятся повсюду признаки надвигающейся гибели, распада, языки пламени и стаи крыс, бегущих с корабля или подступающих к стенам объятых карнавальным весельем города.

Но заставляя нас морщиться от несносного своего мессианства, от навязчивых предостережений и отцовских заклинаний опомниться и образумиться, от диалектического примитивизма, манихейства и философского волапука, Солженицын успевает — и за одно это ему нужно поставить памятник — заронить в нас искру сомнения в научности наших терминов, в соразмерности наших геополитических выкровок, в безусловности наших доктрин и верований, в необходимости нашей религиозной междуособицы, в глубине наших траншей и в неприступности наших внутренних линий Мажино. Не будем же следовать его примеру и выплескивать ребенка вместе с пеной. Ребенок еще пригодится, когда самонадеянный король задумает продемонстрировать нам свое новое идеологическое платье...

Панин обвиняет Солженицына в свободобоязни. Однако вчитываясь в его линейные оценки солженицынской неумности и в следующие за ними лихие рецепты по благоустройству планеты, начинаешь понимать, что это еще большой вопрос, кто ближе к свободе, кто дальше. Солженицын ближе к ней, чем все те, кто твердо и наперед знает, что такое хорошо и что такое плохо, что прогрессивно, что реакционно.

Дробя свободу на *внешнюю* и *внутреннюю*, отделяя свободу от демократии, Солженицын словно пытается очистить зерна тысячелетнего человеческого опыта от плевел и шелухи, от всего, что выходит на поверку лишним, наносным, третьестепенным, пробует свести исторические деяния к неразложимым, священным элементам, за которыми его откомандировала из своей тем-

ницы вечная Россия. Критерии отбора у него такие же, как у человека, которому в считанные минуты нужно решить, что ему вынести из объятых пламенем дома, пока не занялись стропила и не рухнула крыша.

Легко петь гимны свободе, труднее и честнее отдавать себе отчет, что народ, «образованщина» — основные части социального тела не готовы к ней. Воровство, пьянство, разгильдяйство, работа спустя рукава, апатия ко всему, что лежит за створками домашней, бытовой раковины, — вызывают у него пароксизм гнева и отчаянья.

Панин уверяет, что все эти неприглядные черты — форма пассивной борьбы с режимом, залог того, что режим не переживет 1984 года. Раб — он ведь только внешне раб, внутри он свободен, «мораль рабов — опора народного сопротивления»<sup>13</sup>. Зачем же отказываться от маскирующей двойственности? Да и какое у нас, собственно говоря, право, отсюда, из-под американского ядерного зонта, звать людей к жертве, воспитывать камикадзе? Ничего мы этим не добьемся, разве что сгноим цвет нации по тюрьмам да психушкам.

В один прекрасный день система, подточенная мощным народным брожением, которое и надо ферментировать не покладая рук, рухнет. И свобода нас встретит радостно у входа... Как корка зажитой раны, отпадет в одночасье рабская мораль. И наступит жизнь на новых нравственных и социальных основах. Христианская мораль не просит изнурительной подготовки, аскетической гимнастики души. Она — естественное состояние человека, избавленного от тирании и от необходимости поклоняться идеологической мамоне. У нас нет ни времени, ни вкуса к покаянию. Пусть каются наши палачи и их пособники за границей. Нам же надо, не теряя драгоценных минут, готовиться к предстоящему политическому наступлению, нацеливать его на всеобщую революционную стачку, продумывать характер будущей государственности, которая поднимет Россию из грязи и обеспечит ей небывалый материальный и культурный расцвет.

Читателю ясно, насколько далеки эти радужные перспективы от мыслей Солженицына. То, что Панин считает пассивным сопротивлением режиму, для него — приспособление к нему. Так же как уколы морфия не лечат, а только унимают боль, и губительна

13. Солженицын и действительность, стр. 48.

привычка к нему, так и повальное пьянство и аморальность искалечили душу народа. Переть в будущее с язвами и струпьями не сулит ничего хорошего этому гипотетическому будущему. Мы наблюдаем на его мраморные полы и перережем друг другу глотки. Уже пробовали марксисты прыгнуть в грядущее директивной отменой капитализма — не принесет и нам облегчения простая отмена осадного положения. Длится уже седьмой десяток, оно прочно засело в нас.

Его не сбросить ни «поспешным сотрясением», ни политическим экстазом. «И пока мы в себе не превзойдем праха — не будет на земле справедливых устройств — ни демократических, ни авторитарных»<sup>14</sup>. Лишь жертвенный пример новых *первых христиан* сможет ускорить нравственное перерождение страны и снять с нее навсегда тоталитарную блокаду. *Христианизируем* народ — тогда и государство перестанет быть дурным.

Спор между Паниным и Солженицыным перерастает их личное разногласие. Он отголосок старинной дискуссии, начатой в те до-стопамятные времена, когда душеспасительным речам и ханжеству буржуазных святош и рантье марксизм противопоставил идею социального раскрепощения человека, которую по-своему резюмировал Бертольд Брехт:

*Вы учите нас честно жить и строго,  
Не воровать, не лгать и не грешить.  
Сначала дайте нам пожрать немного,  
А уж потом учите честно жить.*

(«Трехгрошовая опера»)

Реакция Солженицына на торжество политики и социальной хирургии над моралью, на засилье этического релятивизма и идеологического макиавеллизма понятна и оправдана. Но перебежав с одного борта проблемы на другой, он не спасает ее от крена. И пользуясь этим креном, Панин берет писателя на abordаж. Платформа Солженицына, говорит Панин, напрасно выдает себя за аполитическую. Она — чистейшей воды политический оппортунизм, желание договориться с *вождями* «через голову народа»<sup>15</sup>. Выработывая у населения отвращение к политике и дезориентируя Запад, всегда готовый подмахнуть *вождям* очередное хель-

14. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 512.

15. Солженицын и действительность, стр. 15.

синкское соглашение, Солженицын заслуживает их самой горячей признательности.

Критика Панина, то есть критика солженицынских взглядов с либерально-марксистских позиций, надо надеяться, уместна и своевременна. Странно только, что исходит она от воинствующего антимарксиста и стратега крестовых походов против безбожного коммунизма. Но нам не привыкать к парадоксам тотальной борьбы с тоталитаризмом.

Нет, не свободы боится Солженицын, чтобы вернуться к главному упреку Панина, а ее фантомов. Сдержанность Солженицына выдает глубинное, инстинктивное неприятие всяких многообещающих программ, идеологических хэппи-эндгов, технологически безупречных оргазмов вселенского счастья, автоматических рецептов общественного спасения, в которые напыщенно и лукаво драпируется призрак несвободы.

Надежды Солженицына бьются в унисон с самыми высокими надеждами и помыслами тех, кто в надлежащий момент не задумается возвести баррикады на пути торжествующего тоталитаризма. Но взойдет ли он на общую баррикаду, встанет ли грудью на защиту единой и неделимой свободы? При всем желании однозначным ответом тут не отделаться.

Если в одних случаях Солженицын проявляет лихорадочную поспешность, то в других — явно мешкает. Ему важно знать, что за колонна приближается к восставшим, откуда пришла она, слева или справа. И ему случается развесить уши перед полицейским красноречием правых.

Кроме того, баррикада — революционное сооружение. А это уже шантаж. Ведь у него черным по белому написано:

«Из русской истории стал я противником всяких вообще революций и вооруженных потрясений (...). Всяким поспешным сотрясением смена нынешнего руководства (всей пирамиды) на других персон могла бы вызвать лишь новую уничтожительную борьбу и наверняка очень сомнительный выигрыш в качестве руководства»<sup>16</sup>.

Что же до затяжной «уничтожительной борьбы», то о ней и говорить нечего. История показала, что из Великого Похода рево-

16. Письмо вождям, стр. 43.

люционная армия выходит уже готовой структурой тоталитарного государства. И тем вернее, чем длиннее он и кровопролитнее.

Враг длительных и «поспешных сотрясений», темной конспирации, узколобой кружковщины и хмельных политических игрищ, Солженицын лелеет замысел «нравственной революции»<sup>17</sup>, и ее лозунги: раскаянье, очищение, самостеснение, самоконтроль — ему «мерцают, как звезды сквозь облака».

Незачем свергать государство. Оно изменит свою сущность, когда на него распространится затронувший личность процесс духовного размерзания, когда оно делается сосудом души возрожденной, свободной, верующей, как сейчас оно — сосуд души затравленной, запуганной, озлобленной.

И все это веско, связно, убедительно. И нам бы слушать его и слушать... Но забивает эфир революционная труба «Архипелага».

17. Из-под глыб, стр. 144.

## 20. БРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ

– Не тот это город, и полночь не та,  
И ты заблудился, ее вестовой!

Б. Пастернак

Сила народного волнения! Как быстро ты меняешь государственную обстановку! Накануне – комендантский час и так страшно, а вот весь город гуляет и свистит. И неужели под корою столетия так близко это лежит – совсем другой народ, совсем другой воздух?

«Архипелаг ГУЛаг», т. 3, стр. 563

Исследователь «таинственного возгорания людских душ», «таинственного зарождения общественных взрывов»<sup>1</sup>, Солженицын – поэт революции, и «Архипелаг» – апофеоз ее.

Мятежная труба «Архипелага», мешающая сосредоточиться на идиллической теме царской России и на публицистике писателя, на этом взыскующем самоучителе по искуплению и смирению, – не может заглушить очевидной истины: «нравственная революция» Солженицына – прежде всего революция, и по своим последствиям она столь же радикальна, что и любая другая. Отказ от Идеологии, развязавшей, по его понятиям, крушение России и цементирующей ныне глыбы советской крепости, предполагает полный разрыв с существующим духовным и социальным порядком. Новый порядок Солженицына есть абсолютное отрицание старого.

Обращаясь к *вождям* от имени революции, клубящейся в недрах общественного сознания, писатель вызывается перехватить искру, бегущую по бикфордову шнуру времени к неотвратимости революционного взрыва. Ради этого он и готов терпеть постылые рожи *вождей* в президиуме. Но не ценой забвения революционных целей. Он заставляет *вождей* принять революцию без рево-

1. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 266.

люции. Освободить Россию сверху, как Александр II в 1861 году, пока она не освободила себя снизу, как в феврале семнадцатого.

Революционный парламентар, Солженицын не впервые играет подобную роль. Он был одним из тех, кого восставший лагерь выбрал вести переговоры с начальством, с командованием осадивших лагерь карательных войск. Он хорошо запомнил своих врагов, «когда сидели они вот так за длинным столом, рядом, выявляя нам свои однообразно-безмыслые белые упитанные благополучные физиономии» и когда «так ясно было, что все они давно уже переродились в отдельный биологический тип, и последняя связь между нами порывается безнадежно, и остается – пулевая»<sup>2</sup>.

Через все произведения писателя проходит эта сцена: невозможный диалог между восставшей личностью и безликой, карательной властью. В «Теленке» – Солженицына с государственными сановниками от литературы, в «Августе» – Воротынцева с царскими полководцами. Прислушиваясь к этому одновременно символическому и документальному диалогу в «Архипелаге», мы сможем локализовать очаг революционной «заразы»<sup>3</sup>, что свила гнездо в солженицынской груди:

«Прерывать выступавших особенно старался высокоголовый злодей-подполковник (...). Только долгоголовый еще не ушел в орангутанги, он отлично слышал и понимал. На первых же словах он попробовал меня сбить. Началось при всеобщем внимании со-  
стыжание молниеносных реплик:

– А где вы работаете?

(Спрашивается, не все ли равно, где я работаю?)

– На мехмастерских! – швыряю я через плечо (...).

– Там, где делают ножи? – бьет он меня спрямака.

– Нет, – рублю я с косога удара, – там, где ремонтируют *шагающие экскаваторы!*<sup>4</sup> (...)

Но полкан притаился за столом и вдруг как прыжком кусает снизу вверх:

– Вас делегировали сюда *бандиты?*

– Нет, пригласили *вы!* – торжественно секу я его с плеча и продолжаю, продолжаю речь.

2. Там же, стр. 281.

3. Это словцо принадлежит самому писателю. Там же, стр. 290.

4. *Шагающие экскаваторы* были не просто строительным агрегатом, а символом *сталинских строек коммунизма*, как потом *кукуруза* стала символом *подъема сельского хозяйства и социалистического изобилия*.

Еще раз два он выпрыгивает и полностью смолкает, отраженный. Я победил.

Победил – но для чего? Один год! Один год остался мне и давит. И язык мой не вывернется сказать им то, что они заслужили. Я мог бы сказать сейчас бессмертную речь – но быть расстрелянным завтра. И я сказал бы ее все равно – но если бы меня транслировали по всему миру! Нет, слишком мала аудитория.

И я не говорю им, что лагеря наши – фашистского образца и суть признак перерождения власти. Я ограничиваюсь тем, что перед их выставленными носами провожу керосином. Я узнал, что здесь сидит начальник конвойных войск – и вот я оплакиваю недостойное поведение конвоиров, утеравших облик *советских воинов* (...). Затем я рисую надзорсостав лагеря как шайку стяжателей, понуждающих эзков разворовывать для них строительство (...). И какое же развоспитывающее действие это производит на заключенных, желающих исправиться!

Мне самому не нравится моя речь, вся выгода ее только в «выигрыше темпа»<sup>5</sup>.

В это выступление, состоявшееся четверть века назад и которое теперь не нравится оратору, вплетены две разные речи. Одна – всеми слышимая, либеральная, наподобие той, что произносил незабвенный Митрович, разоблачая злоупотребления местных властей «с Лениным на устах».

И другая – запрещенная, тайная, революционная, слышимая одному писателю. Можно усомниться, что эта другая речь звучала в нем с той же отчетливостью, что и в момент позднейшей редакции («выигрыш темпа» в мемуарах обедняет прошлое и ничего не прибавляет к настоящему). Но нельзя не поверить, что она билась в нем учащенным пульсом уже тогда. Подспудная, загнанная в глубину сторожевыми псами внутренней охраны, она набирала с годами ясность и мощь. И вот она вырвалась на волю и ее «транслируют по всему миру».

От нее пот прошибает кремлевских старцев. И их тонуса не поднимает гарантированная ненасильственность солженицынской программы и его добросердечная просьба оставаться на своих руководящих постах. Речь Солженицына – буровая скважина, из которой сигает пламенем неподозреваемый революционный газ, запертый в миллионах советских душ, и даже в самых благополучных, лояльных, послушных.

Ведь кропя либеральные статейки, рекомендуя конструктив-

5. Там же, стр. 281-282.



ные меры по улучшению действительности и уменьшению беспорядка, вскрывая «имеющие место недостатки», ставя фрондерские спектакли, разводящие крамолу патриотической декламацией, или же вкалывая без лишних слов на трудовом фронте, советский человек — рабочий, колхозник, учитель, инженер человеческих душ или космических кораблей — видит перед собою все те же «однообразно-безмыслые физиономии» и упирается все в ту же каменную стену. Ее нельзя взять приступом, переложить более рациональным способом, в ней не прорубишь ходы сообщения или окна в Европу, в будущее, в подрумяненное прошлое. Она поддается лишь динамиту.

И скрывая от всех это секретное убеждение, советский человек ловит на себе нескромный взгляд «высокоголового злодея подполковника», который все «отлично слышит и понимает» и, не обращая внимания на *конструктивные меры* и поклоны в сторону ленинской иконы, замер в стойке, чтобы поймать на слове, вылетевшем неосторожно за линию внутренней обороны, чтобы зарегистрировать на сыском детекторе революционный ритм, стучащий в сердце каждого жителя страны, «еще не ушедшего в орангутанги», и, стало быть, самого подполковника.

Лет двадцать назад жива была надежда на «расширение социалистической демократии» и «восстановление ленинских норм». Но заседающие в Кремле контрреволюционеры предпочли идеологической разрядке перевооружение оккупационной армии. Реформистский люк был прочно задраен, и последняя заклепка пришла по «Новому миру». С тех пор всякое публичное отклонение от идеологического азимута расценивается как попытка к бегству, и конвой стреляет без предупреждения. С тех пор либеральная речь выглядит ломанием комедии, тщетной уловкой живущего на вулкане обеспечить себе видимость покоя, устойчивости и ввести в заблуждение сидящего в каждом из нас и жадно принимающегося внутреннего подполковника.

Что же до полковников реальных, во плоти и в сапогах, то они устали от либерального прекраснотушия, от социалистической искренности интеллигенции. И хотят только одного: покорности. Искренность не требуется уже протоколом и сохранилась более всего в диссидентских опровержениях на судебные обвинения в антисоветской, подрывной деятельности. Здесь эта искренность похожа на неподдельную. Потому что в революционных настроениях не признаются даже себе ни диссиденты, ни правоверные, ни

циники, ни критиканы. Их выталкивает в невротическую глубину целое сонмище бдительных страхов.

Первый страх продиктован родовой памятью об Октябре, о гражданской войне и уверенностью, что «после» бывает обязательно хуже.

Второй страх — страх перед неизвестностью. Все знают, что на смену феодализму приходит капитализм, а на смену капитализму — социализм. Но никто не ведает, что наступает после «ассириовавилонской государственности» промышленного типа.

Не имея возможности познать свой век и запечатлеть его сущность в какой-либо из форм общественного сознания: в науке, истории, литературе, прессе, — советский человек отрезан и от будущего. Низкое свинцовое небо закрывает ему горизонт и не предвещает ничего хорошего. Он старается окопаться надежно и глубоко, подальше от беды и от глаз начальства, он дорожит мелкими привычками и приобретениями и молит судьбу, чтобы не было хуже.

Вспомним, что Иван Денисович так притерся к лагерю, что как бы уже и не хотел на свободу. И простой народ, хотя и проклинает советскую жизнь (в последнее время на Руси развязались языки и чего только не услышишь в местах общественного скопления: в магазине, автобусе, поликлинике, пивной!), но свыкся с ней, не воображает себе жизни иной и не помышляет о ней.

И все же, ему уж слишком нечего терять, кроме, разумеется, собственных цепей, чтобы можно было бесконечно полагаться на его терпение и покорность. Воспламеняемость народа («неужели под корою столетия так близко это лежит?») — источник третьего страха в стране, не знающей моральных и религиозных табу, минимальной гражданской и выборной самодеятельности, где половина населения доносила на другую и *раскулачивала* ее, где палка — неизменный и преимущественный инструмент государственной политики, тем паче что пряников не хватает даже на стахановцев физического и умственного труда, где отсутствует общественный проект, способный заинтересовать и завоевать человека с улицы.

Революция в такой стране неизбежно превращается во взрыв низменных страстей, в «перерезание глоток друг другу», в расправу с теми, на кого власть десятилетиями науськивала население. На фонарных столбах взбунтовавшейся столицы будут висеть начальники, интеллигенты, *жиды*...

И еще один страх, что должен бы, по идее, снимать все предыдущие, а нет, дополняет и обостряет их: оправданный страх перед репрессивным аппаратом. Порождая и поддерживая постоянную революционную ситуацию, тоталитарный режим (не путать с авторитарным) успешно справляется с удушением любых революционных проявлений.

К счастью, дело до этого обычно не доходит, потому что в самой ранней своей стадии революционные настроения подвергаются сокрушительной атаке революционных страхов. Страхи выполняют функцию антител в социальной психопатологии тоталитарного общества. Отсюда его безнадежный и обманчивый конформизм.

Однако случай Солженицына — особый случай. В отличие от огромного большинства своих соотечественников, ему не удается «освободиться» от революции, не думать и не говорить о ней. Его революционный соблазн сильнее революционных страхов. А лучший способ избавиться от искушения — это, как известно, уступить ему. И романист не препятствует извержению революции в «Архипелаге». Правда, загнав революцию в гетто «Архипелага», он не оставляет ее там в покое. В «Архипелаге» Солженицын переосмысливает личный революционный опыт, отбирает из него все неприглядное и отталкивающее и, запугивая себя и читателя, помогает себе и ему выдавливать из себя революционера.

Спустя четверть века он уже не верит в честность руководителей лагерного восстания, подозревает их в негласных контактах с начальством за спиной товарищей и в готовности к компромиссу. Автор вспоминает, как входили они во вкус власти и авторитета. Именно в «Архипелаге» обоснован вывод, что всякий насильственный переворот означает смену деспотизма и никогда — отмену его. Вывод, который за пределами «Архипелага» писатель развивает в антиреволюционную и охранительную идеологию.

Но идя на мировую с *вождями*, пробуя задержать их на капитанском мостике, чтобы с помощью их милицейской интуиции благополучно обогнуть мыс Революционной Надежды, Солженицын встречает те же упреки, которые в «Архипелаге» он адресует руководителям лагерного восстания. И теперь уже очередь Панина обвинять его в авторитарной солидарности, в сговоре с начальством «через голову народа».

Критик и прав, и не прав. Потому что ни *вожди*, ни Солженицын не в состоянии «договориться» между собой, как не смогли дого-

вориться с карателями командеры восставших эзков, ведь связь между ними – «пулевая».

Страшась революции как темного прообраза своего Я, открещиваясь от нее обеими руками, романист не может отделаться от нее и за территорией «Архипелага». К ней его *влечет неведомая сила*. И какую бы действительность ни брался Солженицын описывать, у него получается обязательно та, что созрела для хирургического ножа революции.

В «Августе» он задумал убедить нас, что революция была не нужна России, что она – выдумка политических краснобаев. И что же? Рассудку вопреки, романист доказывает необходимость и неотвратимость Февраля. Через Воротынцева он захотел изобразить новый и продуктивный стиль исторического поведения, отличавшийся бы от обычно-революционного, от привычно-политического. Автор доволен своим героем и ставит ему пятерку за прилежание. Но события-то романа показывают Воротынцева, как и других представителей *нового класса*, двоечником истории. В «Августе» перекрыты все пути, кроме того, на котором стоит выжидательно бронепоезд гражданской войны...

Революцию называют повивальной бабкой истории. Сравнение это хромает, как и всякое другое. Если роды ребенка требуют услуг повивальных специалистов, то роды нового в истории нередко обходятся без их содействия. Учитывая исключительный характер революций, правильнее было бы уподобить их кесареву сечению истории.

Неразумно быть против кесарева сечения: оно спасает от смерти роженицу и ребенка. Неразумна идеология, осуждающая задним числом февральскую революцию за то, что рожденный с ее помощью демократический строй скончался через полгода от детской болезни тоталитарной левизны.

Но еще нелепее идеология, возводящая кесарево сечение в священную догму и на этом основании отрицающая все в истории, что появляется на свет естественным образом. Сколько раз на день нам приходилось слышать, что тот или иной политический маршрут плох, потому что он реформистский, что мир на Ближнем Востоке вреден и реакционен, поскольку умерщвляет палестинскую революцию и т.д.

Кесарева идеология есть идеология абсурда, вывих незрелых или отчужденных от реальности мозгов, подведение научной базы под жажду насилия над другими и над собой. Но не менее опасны

для духовного здоровья человека и нации перманентное подавление революционных импульсов, невозможность направить их ни в революцию, ни в мирное преобразование жизни. Подавление революции выходит боком для лиц, и без того страдающих запором политической воли. Антиреволюционная идеология доводит их до авторитарного мифотворчества и демократофобии:

«... мы – не поклонники того буйного "разгула демократии", когда каждый четвертый год политических деятелей и даже всей страны чуть не полностью ухлопывается на избирательную кампанию, на угождение массе (...). Даже и в демократии устоявшейся, видим мы немало примеров, когда ее роковые пути [sic] избраны в результате эмоционального самообмана или случайного перевеса, даваемого крохотной непопулярной партией между двух больших – и от этого ничтожного перевеса, никак не выражающего волю большинства (а и воля большинства не защищена от ложного направления), решаются важнейшие вопросы государственной, а то и мировой политики»<sup>6</sup>.

Не рассчитывая разбить демократический сад в русском климате, Солженицын набивает себе оскомину, глядя на демократический виноград в соседних садах. Характерно, что демократию он ругает всегда вслед за революцией. Так, процитированное осуждение «буйного разгула демократии» стыкуется в тексте без особой логической нужды с тирадой против «всяких вообще революций и революционных потрясений», завершающихся непременно торжеством худшей тирании. Отрицая в идеологическом плане преемственность между революцией и свободой, Солженицын восстанавливает ее произвольно в композиции, в структуре своих речей. Революция и свобода произрастают в его безотчетных представлениях на одном и том же древе и входят в состав того же запретного плода.

Консерватизм, правый нигилизм романиста – идеологические вериги, которыми он смиряет свою революционность, мечту о запретном плоде, о плоде свободы.

Пограничная полоса разделяет творчество Солженицына на две зоны: революционного и антиреволюционного художественно-философского языка. Но обе зоны соотносятся друг с другом, как изображения одной игровой карты: прямое и перевернутое. За душой у Солженицына одна карта – карта революции.

6. Письмо вождям, стр. 43-44.

Во всех своих последних произведениях Солженицын занимается выдавливанием из себя революционера. Мы рассмотрели этот процесс в первом томе эпопеи, и его продолжение ожидает нас, по всей вероятности, в следующих. Но самым любопытным его продуктом является, бесспорно, сибирский проект, изложенный в «Письме вождям».

Солженицын предлагает бросить все силы страны на освоение Сибири. Это и будет тем живым и конкретным делом, которое отвлечет общество от революционных страхов и политических иллюзий, а вождей — от некрофильского ритуала и полицейской рутин. Сибирь станет почвой для национальной консолидации.

Панин камня на камне не оставляет от солженицынских планов. С цифрами в руках он доказывает их несостоятельность и экономическую нецелесообразность. Да и зачем нам Сибирь, когда дома столько пустующей и неухоженной земли, когда дома столько дел! Панин вспоминает, что рост учеников-ремесленников, которых ему доводилось встречать в Воркуте, не превышал полутора метров. Таковы эффекты мороза, ветров, полярных сумерек, отсутствия витаминов. Изголодавшийся и изверившийся народ отнесется к сибирскому призыву точно так же, как в свое время — к хрущевской кукурузе. Отправить людей на край света, в область «вечной мерзлоты удастся только насильно»<sup>7</sup>, — заключает критик и вскрывает в языке письма затаенные авторитарные акценты.

«Чем быстрее, тем спасительнее, — цитирует он Солженицына, — перенести центр государственного внимания и центр национальной деятельности (центр расселения, центр поисков молодежи) с далеких континентов и даже из Европы, и даже с юга нашей страны — на ее Северо-Восток»<sup>8</sup>, — выделяет Панин четырежды промелькнувший в одной фразе ЦЕНТР.

Солженицын, пытаясь говорить с волками по-волчьи, больно уж легко, по мнению критика, усваивает их язык и, избрав недостижимую разумными средствами цель, должен будет принять и волчьи средства. Панин обвиняет писателя не больше не меньше как в неизжитом сталинизме...

Что и говорить, напутственное слово Солженицына исполнено якобинской одержимости, централизаторского, административно-

7. Солженицын и действительность, стр. 16.

8. Там же, стр. 18.

го упоения, веры в свою единственную правду и решимости осчастливить ею всех. Достаточно ли этого, чтобы наградить писателя самым крепким ругательством века — решать самому Панину. Заметим только, что переход разрушительной энергии в созидательную, революционного неистовства в градостроительный пафос пятилеток — психологически закономерен и неоднократно реализован исторически. Этот переход нащупан и в эпосе. Разве Сталин не имманентен солженицынскому Ленину «В Цюрихе»? Разве герой, подкладывая взрывчатку под стены старого города, не делает это из любви к высшему порядку, разве не вынашивает он планы обуздания социального хаоса и приведения его в тоталитарный строй, в сталинскую алгебру и гармонию? Превращение Ленина в Сталина началось у Солженицына задолго до революции, и, если Панин имеет в виду именно эту метаморфозу, над его обвинением стоит призадуматься...

Слабость формального анализа Панина, быть может, в его чрезмерном формализме. Солженицын не экономист, не социолог, не землепроходец. И одному ему не заменить многолетних трудов ученых, исследователей, искателей, приговоренных к молчанию у себя на родине. Проект Солженицына, наверное, уязвим экономически.

Но остается еще Сибирь условная, символическая. Она — воплощенная тревога современного жителя земли, истерзанной немелким и хищническим хозяйствованием, обезображенной бетоном и фабричными испражнениями. Она передает его ностальгическую тягу к «отстойнику»<sup>9</sup>, к спящим в блаженном пару девственным лугам, лесам, озерам.

Но доносится из солженицынской *Сибири* и нечто специфическое, советское. Что, мол, прикажете делать с нашим уродливым, бессмысленным хозяйством, движимым не товарно-денежными естественными мотивами, а звонком из ЦК, а идеей-фикс дежурного *вождя*? Куда, скажите, деть бесчисленные города-поганки, выросшие как попало вокруг промышленных комбинатов-монстров? Как быть с экономикой, не справляющейся со своей основной задачей: кормить и одевать народ, а годной лишь выдавать на-гора ракеты, танки, спутники? Расчистить ее авгиевы конюшни, умерить бешеное вращение вхолостую, приспособить к человеку?

9. Письмо вождям, стр. 25.

Да не легче ли построить все заново, на свежем, неизгаженном месте!

В сибирском проекте Солженицына заложено страстное желание конца этому бездушному, безумному миру и начала новой эры, расцветшего на целине вертограда. Здесь преломился старинный эсхатологический порыв, «великая славянская мечта о прекращении истории»<sup>10</sup>. *Сибирь* Солженицына – это, в сущности, вытесненная и сублимированная потребность революции.

Уже написав эти строки, я прочитал книгу «Уничтожение природы»<sup>11</sup>. Переданная на Запад каким-то советским ученым под псевдонимом Б. Комаров, книга рассказывает о том, что Сибирь давно перестала быть «отстойником», чистой страницей русской истории. Ее экологическое равновесие, как выясняется, необратимо нарушено, и тундра и болота наступают на редкие леса. Край этот сделался всесоюзной свалкой промышленных и радиоактивных отбросов. Из-за низкой температуры разложение отбросов и восстановление природы происходит здесь во много раз медленнее, чем в нормальном климате. Иначе говоря, Сибирь нужно не осваивать, а заморозить, ибо, предупреждает ученый: «Через 15-20 лет наша "запасная страна" может оказаться пустыней, возродить которую к жизни станет куда сложнее, чем горячие пески Средней Азии»<sup>12</sup>.

Разумеется, будь Солженицын в курсе этого кошмарного документа, не было бы ни его проекта, ни спора с Паниным. Но вот ведь что знаменательно: оба они с Паниным побывали в Сибири, а впросак попал не абстрактного ума человек, а пожиратель реальности Солженицын.

Сибирь же с тех пор превратилась в советскую Саудовскую Аравию. Ее сокровищами *вожди* расплачиваются за американский хлеб и западную технологию, спасая от удушья свою маразмизирующую экономику, затягивая на долгие годы агонию дебильного промышленного колосса.

Вероятно, любой идеологический проект так же соотносится с действительностью, как вымышленная писателем Сибирь – с настоящей. И рыцари идеологий до скончания веков обречены сражаться со свободой и человеческим достоинством, жертвами гне-

10. Осип Манделъштам, Собр. соч., 1966, т. 2, стр. 331.

11. Б. Комаров, Уничтожение природы, Посев, Франкфурт, 1978.

12. Там же, стр. 207.



та священной идеи, ее химерического прожектерства. Вериги, которыми они смиряют свои революционные импульсы, нещадно жмут душу и вызывают судорогу, сказавшуюся в авторитарных акцентах солженицынского письма, в утопической неподвижности «Августа».

Эта контрреволюционная судорога искажает прекрасный лик идеологий и обнажает их вторую натуру. Французская компартия поддержала кровавый разгром венгерского и польского восстаний, мешала, как могла, парижской мини-революции в мае 1968 года. И кому, как не ей, утверждать, что советский концентрационный режим — отклонение от социалистической революции, а не завершение ее адского цикла!

В доброе старое время революционерами считали тех, кто свергал тиранию во имя свободы. Нынче революционерами считают себя те, кто свергает свободу во имя тирании или же заменяет одну тиранию на другую. Поскребите нынешнего революционера и вы обнаружите под ним «контру». Поскребите «контру» и вы извлечете революционера.

И чтобы не ошибиться, кто есть кто, мы затвердили нехитрое правило: справа реакционеры, слева революционеры. А разницу между левыми и правыми нам уже доходчиво разъяснил незабвенный Морис Клавель<sup>13</sup>. Левые хотят нас всех осчастливить, правые — уберечь от несчастья.

Загвоздка лишь в том, что и то и это можно делать по-разному. Одни добиваются своего реформами и контрреформами, другие — революциями и контрреволюциями. Одни взывают к демократическому сознанию, другие — к эсхатологическому. А в потоке последнего стираются грани между реакцией и прогрессом. Вот мы и снова на прежнем месте растерянно глядим на кружащиеся пары. Аргентинское танго танцуют в обнимку Брежнев и генерал Видела. Поди догадайся, кто слева, кто справа...

Левые и правые контрреволюционеры мечтают остановить часы истории. В кельях идеологий прячутся они от свободы и лелеют в них свой заветный замысел. Но не усидеть Солженицыну в этом невротическом полумраке. От себя не убежать ему ни в Сибирь, ни в Америку, ни в «Август четырнадцатого». Всюду настигнет его ветер свободы, навсегда отравивший легкие писателя. Автору

13. Недавно умерший французский христианский философ и публицист, самый старый из *новых философов*.

**«Архипелага» не хватит ни благоразумия, ни тормозов, чтобы не ринуться в переделку и не заплатить за это головой...**

**Среди пассажиров, отлетающих первым рейсом в охваченную пожаром Москву (да простится мне эта сумасшедшая и ненаучная гипотеза!), Панин обязательно найдет Солженицына.**

## 21. СОЛЯНОЙ СТОЛП

Но поднявшись на баррикаду, нужно уметь и вовремя спуститься с нее. Разойтись по домам, оставив на центральной площади надежных людей, «жертвенную элиту»<sup>1</sup>, совесть, мудрость и хладнокровие нации. Предаться демократической распущенности, пустить свободу по рукам как публичную девку, означало бы снова утратить ее, и на этот раз навсегда.

Место свободы на пиру философов и праведников. Они и учредят мир и согласие на истерзанной, обескровленной, испохабленной земле. Праведники потому и праведники, что, по выражению Солженицына, «не для себя лично ищут» (147). Им ведь, праведникам, и тоталитаризм нипочем. Им ведь и при советской власти нет нужды в юридических *для себя лично* гарантиях. Законность и гласность нужны им для того, чтобы нести в народ свое вещее слово, чтобы жертва их становилась всеобщим достоянием, поводом для массового размышления. И, если бы уже сейчас предоставить им такие возможности, избежали бы мы кровопускания и перешли бы в *новый порядок* мирным, так сказать, путем.

К этим праведникам принадлежит по праву и сам Солженицын, задолго до других отказавшийся от пряника и венца государственного певчего. Задолго до других разглядевший ложь и неисправимость советского Содома. Промысел — а Солженицын уверен в этом — не дал закрыться его беспощадно-резвым очам в покойницкой ракового корпуса. Перстом же была ему указана дорога из вертепа, где милитаристы увлечены распределением ленинских премий мира, где околоточные надзиратели заставляют величать себя революционерами, где революционеры рядятся в схимников и контрреволюционеров, где либералы свирепствуют для отвода глаз что твои реакционеры, где идеология заменяет церковь, а церковь — идеологию, где *народ безмолвствует* и пьянствует, где маски, взявшись за руки, образуют порочный круг,

1. Из-под глыб, стр. 255.

из которого юноше, обдумывающему житье, удастся вырваться лишь в эмиграцию...

Однако истинный праведник не может не оглянуться назад, в свое недавнее прошлое и в настоящее своего народа. Легенда обращает слушника в соляной столп. Метафизически это состояние передается жестоким сомнением, казнящими воображение картинами общей гибели, большой совестью покидающего Содом и уносящего его в своем сердце.

В чужих краях он не находит ни покоя, ни забвения, ни отрады. Среди небоскребов, автомобилей, толп, нейлонового тряпья, рекламного гвалта и криков стриптизных зазывал он воочию убеждается, что Гоморра едва ли лучше Содома и спасение человечества – всюду в «нравственной революции». А ее мирный взрыв произойдет не раньше, чем достигнет критической массы число праведников, таких, как Матрена, Нержин, Костоглодов и им подобных.

Но призывы к моральному подвигу, к совести и святости в этом насквозь политизированном и идеологизированном мире выглядят уходом от реальности, анахронизмом, гапоновской акцией. И глашатай *истинной* свободы считают ретроградом, национальным экстремистом или, в лучшем случае, как Зиновьев, большим ребенком, «несправедливо и жестоко и бессмысленно обиженным»<sup>2</sup>, явлением редким, трогательным, но беспомощным и «допороговым».

От скептических и враждебных насмешек писатель убегает в дореволюционное прошлое, нащупывая в нем пульс желанного, нарождающегося завтра. Он рисует жизнь, в которой бородатые, одетые в солдатские шинели мужики доверчиво внимают «природному командиру» Воротынцеву и отвечают ему «неразборчивым теплым мычанием, благожелательным ропотом» (330). Зависть и классовая ненависть не имеют здесь широкого распространения. Толковые и расторопные работники и хозяева (их еще не скосил большевистский серп экспроприации и раскулачивания) исправно крутят промышленную машину, кормят и одевают неиспорченную Россию. А общественный насос откачивает излишки прибавочного продукта в народную супницу.

В ту дивную эпоху инженеры и ученые озабочены не партийными коалициями, а предстоящей американизацией Сибири и готовят

2. Зияющие высоты, стр. 199.

исподволь небывалый промышленный взлет, который вознесет Россию в разряд богатейших и просвещенных держав.

Да только, видно, исторический роман — негодный жанр для политической утопии. Велико сопротивление его материала великодушному замыслу архитектора. И недостаточно оно — натиску реальной истории, стальному напору немецкого бульдозера.

В «ядренной неисчерпаемой России» (224), с любовью и восхищением выписанной автором, немногие догадываются, во что обойдется ей поражение. И если догадываются, то не спешат разбудить и мобилизовать энергетический потенциал нации. Такая побудка противоречила бы принципам этих героев. Тем идеологическим принципам, которые сознание услужливо подсовывает им, чтобы смогли оправдать свое состояние, состояние бессильных созерцателей катастрофы.

Их создатель, их Пигмалион сам пребывает в столбняке. Он не знает, как вести себя в открытом или полуоткрытом обществе, в милом ему авторитарно-христианском государстве, и он боится передать героям своих не до конца убитых революционных микробов.

К тому же история, какой она возникает перед человеком, вышедшим за ворота социалистического лагеря, не подвигает на исторический титанизм, но отбивает охоту к властному и конструктивному вмешательству в события.

История XX века — кладбище благородных проектов. Она, говоря словами философа Варсонофьева из «Августа», — «ИРРАЦИОНАЛЬНА» (376). Иррациональна, поскольку ее не удастся втиснуть в прокрустово ложе светлых целей и идеалистического планирования. Иррациональна, поскольку ее итоги обратны большим и малым полезным усилиям.

Царь, отрекшись от престола, чтобы не мешать национальному сплочению, способствовал гибели России. Февральский политический класс, допустивши усиление большевиков и их параллельную власть, дабы не впасть в соблазн Носке, ускорил крушение русской демократии.

Революционеры, мечтая осчастливить народ, уготовили ему колхозы и лагеря, лишили его права на забастовку и независимые профсоюзы.

Немцы, пытаясь уберечь свою армию посевом революции в России, пожалы фашизм у себя на родине.

Евреи, участвуя активно в революции, чтобы покончить с по-

громами и чертой оседлости, получили в награду «дело врачей» и процветающий государственный антисемитизм.

Союзники, снабжая Сталина оружием и продовольствием, обрели ялтинский договор и оккупационный режим в сердце Европы...

Неисповедимы пути истории, и уроки ее парализуют драматическую волю автора и актеров. Но если герои не опомнятся вовремя и не поймут, что бездействие хуже действия, на арену истории выйдет Ленин. Ленину предстоит перенять у немецких войск эстафету рока.

Ленин и немцы – союзники. Ильич у Солженицына помогает немецким эмиссарам через свою агентуру в России подорвать дух защитников крепости. Потому что крепость, превращенная в груды дымящихся развалин, дает *карт-бланш* тоталитарному зодчему.

Революция – трагедийный жанр. И Ленин – не просто орудие рока, он – исполнитель главной роли. Герои чувствуют себя пешками чужой и недоброй шахматной игры. А Ленин, предупреждает романист, с молодости увлекался шахматами. В 47 лет он еще не выиграл у судьбы ни одной партии, но ему не занимать упорства и упрямства. И ему не лень каждый раз начинать заново.

В первых главах мы объясняли самостоятельность ленинского сюжета, выпущенного отдельной книгой, активной персоналистической историографией писателя. Так как реалистический роман, рассуждали мы, угрожает выдающейся личности своим психологическим и социальным детерминизмом, Солженицын не пожелал смешивать ее с общим потоком судеб и житейских обстоятельств. Он решил держать Ленина в резерве эпопеи.

И хотя впоследствии выяснилось, что активная историография не распространяется на героев, на коих писатель возлагал особые надежды, она, очевидно, справедлива в отношении Ленина. Что и позволяет мне теперь не мучить вступительные главы запоздалыми коррективами, оставить все как есть, сохранив непреднамеренность и поступательность расследования.

Объявляя личность ответственным лицом истории, ставя судьбу человечества в зависимость от целенаправленного и полновесного акта свободной воли, писатель ошибается только адресом. И мы без труда найдем настоящего адресата, как только усвоим, что воля в солженицынской космогонии бывает двух знаков, эманацией добра и зла.

Да, недра покойного русского общества бедны энергетически-

ми ресурсами. Но кризис полезной энергии не повлек за собою, увы, кризиса энергии иной: злобной, разрушительной, роковой. Вектором ее и становится бронзовая фигура Ленина с простертой в будущее рукой.

Когда-то («В круге первом») правдоискатель Нержин колебался в квалификации добра и зла. Он даже допускал, что зло не имеет собственного генетического фонда, что оно – не более чем заблудившееся добро. Нержин допытывается у своего собеседника, дворника Спиридона:

«... как ты думаешь – с каким... (он чуть не сказал – ”критерием”)... с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают: сделаю-ка я людям зло? Дай-ка я их прижму, чтобы им житья не было? Вряд ли, а? Может быть, люди-то все хотят доброго – думают, что доброго хотят, но все не безгрешны, не без ошибок, а кто и вовсе оголтелый – и вот причиняют люди друг другу столько зла. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо. Ну, как по твоей пословице, что, мол, се-яли рожь, а выросла лебеда?...»<sup>3</sup>

Сакраментальный ответ Спиридона, приведший в неопишуемый восторг гуманистов в Марксе и во Христе, был: «Я тебе скажу: волкодав – прав, а людоед – нет!»<sup>4</sup>

Однако сам автор разгадал нержинский вопрос задолго до Спиридона. Он ответил на него уже в самом начале романа обилием образов, ведущих свое происхождение непосредственно от зла, всех этих абакумовых, рюминых, осколуповых, шикиных, мышинных, шустерманов, сиромах. С тех пор их зловещая раса расплзлась по всем произведениям писателя, по «Раковому корпусу», по «Архипелагу». Зло, безусловно, может быть падшим, коррумпированным добром, и таких героев мы встречаем в любом его романе (пускай и реже, чем следовало бы ожидать от христианского писателя). Но основная беда происходит не от них, а от «оголтелых», от носителей чистого, врожденного зла...

Череп истории смотрит на писателя пустыми глазницами. Обжигает струей смертоносной энергии. Энергии, на недостаток которой не может пожаловаться наш современник.

Взошла она в небо грибовидным облаком Хиросимы. Подня-

3, 4. В круге первом, стр. 465.

лась от земли сладковатым дымком бухенвальдских труб. Стелется по ней жгучим холодком Колымы.

К таинственным фигурам, вобравшим в себя мировое зло, излучающим его радиоактивное сияние, устремлен замороженный взгляд романиста:

«Хоть и толкуют нам, что личность, мол, истории не кует, особенно если сопротивляется передовому развитию, но вот четверть столетия такая личность крутила нам овечьи хвосты как хотела, и мы даже повизгивать не смели. (...) Не по законам экономики, или общества – остановилась медленная старая грязная кровь в жилах низкорослой рябой личности»<sup>5</sup>.

Но склоняясь над омутом ее души, припадая к истокам ее зачатия, вглядываясь во вспышку, сопровождавшую ее рождение и показавшуюся праздничным фейерверком, очистительным заревом ослепленному и пораженному человечеству, мы попадаем, собственно, уже в другую книгу.

В ней состоится рандеву с маленьким господином, который, забившись в кабинетную щель, вычерчивает планы социалистического мегалополиса, казармы и проспекты, прямые, как директива. Он черпает силы и вдохновение в отвращении к старому миру, к его привычному, милому и уютному беспорядку. Героя этой книги выводят из равновесия «мерзкая буржуазная мостовая»<sup>6</sup>, столики кафе, загромождающие тротуары Цюриха, витрины магазинов, изобретающие, чем бы еще ублажить пресыщенного бургера, «партии, толпы и континенты, (...) разнохарактерно и бестолково толкущиеся и кружащиеся, не зная куда»<sup>7</sup>. Он-то уж знает, куда должна вертеться земля!

Наделенный «защитным предупредительным раздражением»<sup>8</sup>, Ленин ощущает себя в прошлом так же временно и неприкаянно, что и Солженицын в настоящем. Читателя «Ленина в Цюрихе», хорошо знакомого с творчеством писателя, время от времени навещает странная до неприличия мысль: а не мечется ли на историческом экране тень самого автора, его отрицательная проекция? Не сродни ли хотя бы солженицынскому мессианству ленинская ве-

5. Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 294.

6. Ленин в Цюрихе, стр. 74.

7, 8. Там же, стр. 60.



ра в то, что он — креатура «властной силы, проявляемой через него», что он — «безошибочный ее указатель»<sup>9</sup>.

Не доведены ли до пароксизма в изречениях Ленина солженицынский же антидемократизм и его же авторитарно-элитарные упования:

«... большинство — всегда глупо, и ждать его нельзя. Решительное меньшинство должно действовать — и после этого становиться большинством»<sup>10</sup>?

Не наделяет ли, наконец, писатель Ильича своею же яростью и нетерпимостью? «Расталкивая, расталкивая Гильфердингов, Мартовых, Грейлихов, (...) Чхеидзе, не давая им фразы высказать связно, тут же обрывая, отсекая, ставя на место и рассеивая их»<sup>11</sup>, партийный писатель Ленин удивительным образом напоминает публициста-Солженицына, его манеру разделяться с идейным оппонентом из русского диссидентства. И порою кажется, что в отношении к последнему Солженицын руководствуется золотым ленинским правилом:

«Враг — это еще пол-врага. Но кто был с нами и вдруг от нашей линии отвихивается — это двойной враг! вот по таким — первый удар!»<sup>12</sup>

Смешно сказать, но Ленин Солженицына страдает теми же слабостями и фобиями, которые бывшая жена романиста отмечает у своего бывшего мужа. Конечно, воспоминания Н. Решетовской<sup>13</sup> — месть покинутой женщины и находка для КГБ, если не прямой заказ этой организации. И все же, выйдя одновременно с «Лениным в Цюрихе», они не могли быть «подогнаны» под него задним числом. Получается даже так, что ленинские главы как бы косвенно подтверждают непосредственность житейских впечатлений Решетовской...

9. Там же, стр. 17.

10. Там же, стр. 54. Вполне вероятно, что *морально-христианская элита* у Солженицына есть производное от *авангарда рабочего класса*. Только наученная горьким опытом, она, напротив, предпочитает у него *бездействовать*.

11. Там же, стр. 83.

12. Там же, стр. 43-44.

13. В споре со временем, изд-ство АПН, 1975.

Злые языки называют «Ленина в Цюрихе» психологическим автопортретом Солженицына. Более сдержанное и основательное суждение принадлежит критику Михаилу Геллеру. Он говорит: «Преклоняясь перед кумиром, потом свергнув его, Александр Солженицын вдруг обнаружил свое внутреннее родство с Лениным. (...) И понимает Ленина — через себя. Можно подумать: и себя — через Ленина»<sup>14</sup>.

Герой позволяет писателю разобраться в самом себе, распознать, что в нем от Бога, а что от вождя революции. А разобравшись, что чье, Солженицын, согласно Геллеру, усердно «очищает себя от Ленина»<sup>15</sup>. И критик вспоминает, что романист — не первый, кто применяет Ильича в психотерапевтических целях, в целях нравственного самоочищения. В 1925 году Вл. Маяковский писал: «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в Революцию дальше».

... Еще школьником, заучивая наизусть поэму «Владимир Ильич Ленин», я недоумевал, зачем Маяковскому понадобилось чиститься под Лениным и в чем заключалась чистка. Теперь, сравнивая опыт Маяковского с солженицынским, мне это проще постичь. Революционное божество давило на Маяковского сверху, помогая тому избавиться от всего старорежимного, эгоистически-личностного, культурно-реакционного. И облегченный поэт «плыл в Революцию дальше», не предполагая, что этот поток вынесет его безвременно в реку по имени Стикс.

У Солженицына совсем другая забота. Он «очищает себя от Ленина», чтобы выплыть из революционного потока. Сообщение между писателем и вождем по-прежнему вертикальное. Однако на сей раз Ленин оказывается прочно внизу. Солженицын извергает из себя Ильича в уверенности, что вместе с Лениным его покидает все низменное, неистовое, муторное.

Книга о создателе советского коммунизма, полная галлюцинаций и тягостных психологических подробностей с привкусом эксгибиционизма, невольно служит писателю исповедальной кабиной или психоаналитическим диваном, где он пытается отделаться от унаследованного беса революции, переселить его в родную тень, в объект сыновней ненависти...

14. *Вестник РХД*, № 117, 1976, стр. 171.

15. Там же.

Но если выдавливание из себя революционера — занятие типично советское, сведение личных счетов с Лениным — процедура сугубо солженицынская. А в этой работе мы рассмотрели черты, объединяющие романиста с его отечественным читателем, черты, которые определяют их общее миропонимание, заложенное в фундаменте «Августа». Разговор Солженицына с Лениным — уже иной, долгий и более интимный разговор. И на введении в политическую психологию эпопеи пора поставить точку.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН\*

- Аверченко А. — 100  
Агурский М. — 60.  
Аксенов В. — 109  
Александр II — 49, 200.  
Альтуссер Л. — 108.  
Арон Р. — 42.  
Аскольдов С. — 50.
- Бабель И. — 48.  
Багрицкий Э. — 106.  
Бальзак О. де — 8, 72.  
Безансон А. — 97, 98, 182.  
Белинский В. — 35.  
Белый А. — 59.  
Бердяев Н. — 36, 41, 42, 48-53,  
60, 66, 77, 91, 127.  
Берия Л. — 102.  
Берлингуэр Э. — 94.  
Блок А. — 44.  
Брандт В. — 10.  
Брежнев Л. — 94, 99, 210.  
Брехт Б. — 72, 196.  
Булгаков С. — 41, 60, 126, 127,  
130, 131.  
Бухарин Н. — 100, 101.  
Быков В. — 103.
- Вагнер Р. — 55.  
Валансэн Ж. — 105, 106.  
Введенский А. — 135.  
Веретенников А. (Борисов В.)  
— 55.  
Видела Х. — 92, 210.  
Вильгельм II — 38.  
Вольтер — 87.  
Врангель П. — 39.
- Гароди Р. — 160.  
Геллер М. — 219.  
Гершензон М. — 41.  
Гитлер А. — 84, 92, 95, 100, 185.  
Глюксман А. — 29-32, 89, 179.  
Гоголь Н. — 8, 36.  
Гойтисоло Х. — 90, 91.  
Голль Ш. де — 138.  
Горький М. — 34, 193.  
Гуль Р. — 158.  
Гусак Г. — 145.
- Дадун Р. — 107.  
Даниэль Ж. — 12, 93.  
Делоне В. — 106.  
Джорджоне — 105.

\* Страницы, на которых встречаются названия произведений, действующие лица, цитаты, введены в указатель под фамилиями их авторов.

В указатель не входят библейские и мифологические имена, а также имена лиц, упомянутых в цитатах. Ленин, Троцкий и Сталин включены в указатель в качестве реальных исторических лиц и не включены в него в качестве литературных персонажей.

- Дзержинский Ф. – 102.  
 Достоевский Ф. – 8, 9, 36, 41, 42, 49.  
 Дубчек А. – 145.
- Евтушенко Е. – 109.  
 Егоров П. (Абовин-Егидес П.) – 43, 174, 175.  
 Ентовен Ж.-П. – 13.
- Жданов А. – 92, 144.
- Зиновьев А. – 153, 154, 161, 213.  
 Зиновьев Г. – 188.
- Иван III – 45.  
 Иван IV Грозный – 45, 49.  
 Искандер Ф. – 86.
- Казакевич Э. – 11.  
 Каменев Л. – 188.  
 Камю А. – 185.  
 Керенский А. – 39, 41, 129.  
 Клавель М. – 210.  
 Клеман О. – 181.  
 Ключевский В. – 59.  
 Кожин В. – 111.  
 Коллонтай А. – 16.  
 Комаров Б. – 209.  
 Корвалан Л. – 82.  
 Корнилов Л. – 39, 129.  
 Козн Ф. – 80, 81.  
 Кропоткин П. – 62.  
 Крымов А. – 64.  
 Кузнецов Э. – 45, 82.  
 Куньял А. – 52, 53, 60, 185, 186.  
 Кюстин А. де – 193.
- Л. О. – 34.  
 Леви Б.-А. – 13, 167.  
 Ленин В. – 11, 15, 16, 21, 28, 42, 44, 84, 91, 95, 98-101, 109, 110, 129, 130, 170, 172, 175, 182, 188, 216, 219, 220.  
 Лефорт К. – 31, 165, 170, 181, 184.  
 Лысенко Т. – 104, 154.
- Мандельштам Н. – 12, 19, 26, 134, 183, 184.  
 Мандельштам О. – 28, 48, 107, 139, 157, 209.  
 Маркиш С. – 188, 190.  
 Маркс К. – 44, 77, 170, 216.  
 Марченко А. – 107.  
 Маяковский В. – 48, 213, 219.  
 Милюков П. – 59.  
 Миттеран Ф. – 60.  
 Михайлов М. – 132, 133.  
 Мичурин И. – 104.  
 Морозов П. – 82, 83, 104.  
 Муссолини Б. – 100.
- Наполеон I – 43, 98, 101, 120.  
 Николай I – 45.  
 Николай II – 38, 98, 127.  
 Носке Г. – 39, 41, 214.
- Окуджава Б. – 109, 112.  
 Островский Н. – 106, 107.
- Павел I – 45.  
 Павел VI – 10.  
 Палеолог М. – 121.  
 Палиевский П. – 111.  
 Панин Д. – 165, 166, 173, 177, 194-197, 204, 207-211.

- Пастернак Б. — 8, 199.  
Петр I Великий — 47, 91.  
Пиночет У. — 167.  
Плисецкая М. — 20.  
Плющ Л. — 11, 53.  
Пушкин А. — 131, 183, 212.
- Рабин О. — 152.  
Распутин Г. — 127.  
Решетовская Н. — 218.  
Руссе Д. — 187.
- Сахаров А. — 20, 46, 76, 81, 192.  
Сен-Симон — 75.  
Синявский А. (Терц А.) — 103.  
Скуратов А. (Иванов А.) — 55,  
120, 121, 142.  
Соариш М. — 39, 53, 78.  
Соловьев С. — 59.  
Сталин И. — 11, 52, 84, 92, 99,  
101, 102, 107, 108, 129,  
134, 207, 208, 215, 217.  
Суварин Б. — 182.  
Суслов М. — 92.
- Тарковский А. — 112.  
Татчер М. — 60.  
Твардовский А. — 149, 150.
- Толстой Л. — 29, 34, 36, 119,  
120, 122, 158, 174, 192.  
Троцкий Л. — 100, 101, 188.  
Тулыгин А. — 54, 55.  
Тургенев И. — 8.
- Фай В. — 182.  
Ферро М. — 50, 51, 182.  
Франк С. — 41.  
Франко Ф. — 44, 68, 90.  
Фриедландер С. — 98.  
Фурье Ш. — 75.
- Хрущев Н. — 11, 99, 140, 144.
- Чаадаев П. — 45, 53.
- Шелепин А. — 102.  
Шелест Г. — 102.  
Шиманов Г. — 174, 185, 186, 189.  
Шляпников А. — 16.
- Эаниш Р. — 40.  
Эйзенштейн С. — 55.  
Элленштейн Ж. — 91.  
Эткинд Е. — 9.
- Янов А. — 46, 185.

## ИЗБРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

### ОБ А. СОЛЖЕНИЦЫНЕ

- "Август четырнадцатого" читают на родине (сборник статей и отзывов). Париж, Имка-пресс, 1973.
- Soljénitsyne. Colloque de Cerisy (communications et interventions).* Paris, UGE (coll. "10/18"), 1974.
- Lenin and Solzhenitsyn, (special issue of) Canadian Slavonic Papers,* Vol. XIX, № 2, 1977.

\* \* \*

- Буковский В. "Почему русские ссорятся?", *Континент*, № 23, 1980.
- Веретенников А. (Борисов В.). "Молва и споры", в кн.: "Август четырнадцатого" читают на родине. *Op. cit.*
- Геллер М. "Солженицын и Ленин", *Вестник РХД*, № 117, 1976.
- Гуль Р. "Читая Август Четырнадцатого", *Новый журнал*, № 104, 1971.
- Киселев А. "Варсонофьев и Н.Ф. Федоров", *Новый журнал*, № 110, 1973.
- Лакшин В. "Солженицын, Твардовский и *Новый мир*", *Двадцатый век*, № 2, 1977.
- Маркиш С. "Не зажмуриваясь", *Сион*, № 14, 1976.
- Медведев Ж. *Десять лет после "Одного дня Ивана Денисовича"*. Лондон, Macmillan, 1973.
- Померанц Г. "Сон о справедливом возмездии", *Синтаксис*, № 6, 1980.

Скуратов А. (Иванов А.). "Писатель Солженицын и профессор Серебряков", в кн.: "Август четырнадцатого" читают на родине. *Op. cit.*

Тулыгин А. "Закройщик истории и нобелевский лауреат А.И. Солженицын", в кн.: "Август четырнадцатого" читают на родине. *Op. cit.*

Чалидзе В. "О некоторых тенденциях в эмигрантской публицистике", *Континент*, № 23, 1980.

Янов А. "Дьявол меняет облик", *Синтаксис*, № 6, 1980.

\* \* \*

Besançon, Alain. "Soljénitsyne à Harvard", *Commentaire* 1 (4), hiver 1978-1979.

Clement, O. *L'Esprit de Soljénitsyne*. Paris, Stock, 1974.

Daix, P. *Ce que je sais de Soljénitsyne*. Paris, Ed. du Seuil, 1973.

Enthoven, J.-P. "Lénine au purgatoire", *Nouvel Observateur*, 12-18 janv. 1976.

Etkind, E. "Soljénitsyne et l'Apocalypse", *Le Monde*, 10 mars 1976.

Ferro, M. "Lénine? Un Al-Capone de la politique". *Quinzaine Littéraire*, 16-31 déc. 1975.

Friedberg, M. "Solzhenitsyn's and Other Literary Lenins", in: *Lenin and Solzhenitsyn*. *Op. cit.*

Lefort, C. *Un Homme en trop*. Paris, Ed. du Seuil, 1976.

Lukács, G. *Soljénitsyne*. Paris, Gallimard, 1970.

Marion, C. *Qui a peur de Soljénitsyne?* Paris, Fayard, 1980.

Moscovici, S. "La dissidence d'un seul", in: *Psychologie des minorités actives*. Paris, PUF, 1979.

Nivat, G. *Soljénitsyne*. Paris, Ed. du Seuil, 1980.

Panine, D. *Soljénitsyne et la réalité*. Paris, Ed. de la Table ronde, 1976.



- Pipes, R.** "Solzhenitsyn and the Russian Intellectual Tradition", *Encounter*, № 309, 1979.
- Senn, A.** "Solzhenitsyn and Historical Lenin", in: *Lenin and Solzhenitsyn*. Op. cit.
- Sinyavsky, A.** "Solzhenitsyn and Russian Nationalism", *New York Review of Books*, 22 nov. 1979.

# СОДЕРЖАНИЕ

## Часть первая

1. Стратегия надежды. . . . .	7
2. Штурвал истории . . . . .	15
3. Была ли «нужна» революция? . . . . .	22
4. Народ и праведники . . . . .	28
5. Кто виноват? . . . . .	38
6. Родословная революции . . . . .	44

## Часть вторая

7. «Новый класс» Солженицына . . . . .	59
8. Демократ ли Солженицын? . . . . .	66
9. «Линия добра и зла». . . . .	77
10. Механизмы защиты . . . . .	89
11. Советский Эдип . . . . .	97

## Часть третья

12. Конфликтограмма «Августа» . . . . .	117
13. Монархия и демократия . . . . .	126
14. Воротынцев и Свечин . . . . .	135
15. Агнцы, мыши и слоны истории . . . . .	147
16. Возвращение памяти. . . . .	156

## **Часть четвертая**

17. Уроки «Августа» . . . . .	165
18. Расколотый мир. . . . .	177
19. Противоречия духа и дух противоречия . . . . .	187
20. Бремя революции. . . . .	199
21. Соляной столп . . . . .	212
<b>Указатель имен . . . . .</b>	<b>221</b>
<b>Библиография. . . . .</b>	<b>224</b>



**Imprimerie «Syntaxis»**

**Dépôt légal 4ème trimestre 1982**



Photo W. Brui

Эмиль Коган родился в 1941 г. Окончил факультет журналистики МГУ. Редактировал "литературную страницу" в газете "Московский комсомолец". В 1968 г. эмигрировал во Францию и стал преподавателем Института восточных языков и цивилизаций при парижском университете "Новая Сорбонна". Публиковался в "Новом мире", "Монде", "Континенте"...

"Соляной столп, или Политическая психология А.Солженицына" — первая книга Эмиля Когана. Одна из ее тем — "Август четырнадцатого".

Экскурс в прошлое, утверждает исследователь, становится у Солженицына разведкой будущего. Писатель отвергает либерально-политическое и революционное преобразование России. Но, предостерегая ее от стихийных и запланированных взрывов, Солженицын изображает прежнюю Россию в виде привычной его перу экзистенциальной реальности. Она созрела для хирургического ножа революции. И ее населяют существа, пораженные параличом воли...

В "Августе", по наблюдению критика, Солженицын предается своему излюбленному занятию — выдавливанию из себя по капле революционера. Политические взгляды писателя — вериги, которыми он пытается обуздать свой мятежный дух...